

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК  
СССР

*Советское*  
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

5

1991



• НАУКА •

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ  
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ  
И БАЛКАНИСТИКИ

# Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

## СОДЕРЖАНИЕ

5

1991

ЖУРНАЛ  
ОСНОВАН  
В ЯНВАРЕ  
1965 г.

МОСКВА  
«НАУКА»

### ДИСКУССИИ

- Иванов С. А.* Откуда начинать этническую историю славян? (По поводу нового труда польских исследователей) . . . . . 3

### СТАТЬИ

- Торбус А.* (Польша). Крестьянский вопрос в идеологии русского, украинского и польского освободительных движениях 40-х годов XIX века . . . 14
- Михутина И. В.* Политические, социальные и экономические аспекты аграрных реформ межвоенного периода в странах Центральной и Юго-Восточной Европы . . . . . 26
- Блюменкранц М. А.* Легенда в историко-философской перспективе . . . . . 39
- Василенко В. Н.* Забытые и неизвестные страницы творческого наследия Ю. И. Крашевского . . . . 54
- Киклевич А. К.* Славянские отрицательные местоимения как грамматический класс . . . . . 69
- Хоутзагерс Х. П.* (Нидерланды). Имперфект в чакавских говорах острова Паг . . . . . 77

### ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

- Аксенова Е. П.* Из истории советской славистики в 1930-е годы . . . . . 83

### ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- Барабанов Н. Д.* Поливяни Д. И. Средновековният български град през XIII—XIV вв. Очерци . . . 94
- Милэйлов Н. А.* Маројевий Р. Лингвистика и поетика превођења: међусловенски превод . . . . . 96

<i>Мельников Г. П.</i> Конференция «Славяне и их соседи», посвященная 70-летию со дня рождения В. Д. Королюка . . . . .	100
<i>Грабчак И. М., Зиморя Н. И.</i> В контексте межславянских взаимосвязей . . .	101
<i>Большт Ф.</i> (Германия). Движение «Eugegio» в новой единой Европе, руководствующейся принципами сотрудничества . . . . .	104
<i>Шведова Н. В.</i> Авангард в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы в первой половине XX века . . . . .	108
Новые книги . . . . .	110

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**И. И. ПОП** (главный редактор), **В. К. ВОЛКОВ**, **Р. П. ГРИШИНА**,  
**А. А. ГУГНИН**, **В. А. ДЬЯКОВ**, **А. А. ЗАЛИЗНЯК**, **М. С. КАШУБА**,  
**В. П. КОЗЛОВ**, **М. П. КУЗЬМИН**, **Г. Г. ЛИТАВРИН** (зам. главного редактора),  
**Г. Ф. МАТВЕЕВ**, **С. В. НИКОЛЬСКИЙ**, **Ю. С. НОВОПАШИН**, **А. Ф. НОСКОВА**,  
**Л. Н. СМИРНОВ** (зам. главного редактора), **Л. А. СОФРОНОВА**, **Б. Н. ФЛОРЯ**  
**М. А. ВАСИЛЬЕВ** (отв. секретарь)

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



## ОТКУДА НАЧИНАТЬ ЭТНИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ СЛАВЯН?

(По поводу нового труда польских исследователей)<sup>1</sup>

Появление научного свода источников по древнейшей истории славян [1] — большое событие в палеославистике. Вполне закономерно, что такое издание вышло именно в Польше. Отметим, что в этой стране в межвоенный период произошел невероятный взлет интереса к славянским древностям. Правда, основная работа тогда велась лингвистами и археологами (см. [2; 3]); специального интереса к письменным источникам не наблюдалось. Зато после войны именно они оказались в центре внимания: уже в 1947 г. была издана составленная М. Плезей первая хрестоматия по древней славянской истории [4]. В ней рассматривались источники от Геродота до Прокопия, каждый раздел включал краткую преамбулу с важнейшей литературой и польский перевод «славянских» отрывков, снабженный постраничными примечаниями. Данная хрестоматия, несмотря на краткость, имела целый ряд преимуществ перед выборкой А. В. Мишулина [5], которой в нашей стране пользуются и до сих пор. Позднее М. Плезя переиздал хрестоматию [6], включив в нее источники вплоть до IX в., однако, обещанная вторая часть хрестоматии так и не увидела свет. Вышедшая в 1954 г. книга Г. Лябуды [7] мало что добавила к материалам Плези.

Сразу после войны в Польше начались и методологические разыскания (см., например, [8; 9]); в 1951 г. были сформулированы принципы будущего издания, которое должно было дать полную сводку научно выверенных письменных данных, правда, не по славянской, а по древней польской истории [10]. Издание не вышло, но проект 1951 г. практически без изменений лег в основу предложенного в 1976 г. плана выпуска «Тестимоний об этногенезе и прародине славян» [11; 12, s. 95, 102]. В нем были заложены следующие принципы: источник следует рассматривать целостно, в историческом и историографическом контексте, хотя публикация отрывков вместо связанных текстов порождает неизбежную односторонность; эксцерпты должны печататься обязательно в подлиннике, по лучшим критическим изданиям, а если таковые отсутствуют, то с обращением к рукописной традиции; важные случаи разночтения и конъектуры желательно оговаривать в комментарии; параллельный польский перевод должен играть лишь вспомогательную роль; литература должна быть дана исчерпывающе. Именно этих принципов старались придерживаться А. Бжустковска и В. Свобода, составители новоизданных «Тестимоний о древнейшей истории славян» [12, s. 102—103; 1, s. 5—7].

Иванов Сергей Аркадьевич — канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

<sup>1</sup> Автор пользуется случаем, чтобы поблагодарить Фонд имени А. фон Гумбольдта (ФРГ), стипендия которого позволила ознакомиться с иностранной литературой, использованной затем в статье.

Как видим, путь к их публикации был весьма долг. Между тем Институтом славяноведения и балканистики АН СССР только что опубликовано издание, по многим параметрам весьма сходное с польским — «Свод древнейших письменных известий о славянах», в котором участвовал автор этих строк. «Свод» независимо следует практически тем же принципам, что были сформулированы в проектах Г. Лябуды. Нижеследующие рассуждения не нужно воспринимать как рецензию на «Тестимонии». Это был бы чересчур легкий соблазн: найти то, чего у коллег не хватает, похвалить за то, что роднит два издания. Гораздо плодотворнее, разглядев в зеркале чужого труда и собственные недостатки, поразмышлять над базовым принципом составления подобных сводов вообще, причем как раз над тем, который не стал предметом рассмотрения ни у Г. Лябуды, ни в советском «Своде». Речь пойдет о принципе отбора источников.

Польский труд охватывает, как утверждают его составители, все грекоязычные источники с V по X вв. с добавлением одного важного автора XV в., Халкокондила [1, с. 6—7]. Однако, изучив список памятников, убеждаемся, что правильнее было бы говорить об авторах V—VII вв. плюс Константин Багрянородный и Халкокондил, ибо в «Тестимонии» не попали ни Феофан, ни Лев VI, одним словом, никто из писавших о славянах с конца VII до середины X в. По какому принципу включались эксцерпты в польский свод? Ответить на этот вопрос нелегко, а сами составители не затрагивают его вовсе. С одной стороны, если исходить из наличия этнонимов «славяне» и «анты», то принцип не выдержан: не включен анонимный трактат «О военном искусстве» (вторая половина VI в.), где названы оба народа [13]; не совсем понятно, почему императорский титул «антский» упомянут лишь под 570 г. применительно к Юстину II [1, с. 107], тогда как впервые он встречается в 533 г. и фигурирует в титулатуре всех императоров от Юстиниана до Ираклия (612 г.). С другой стороны, многие разделы включены неоправданно. Почему, скажем, из «Новелл» Юстиниана взяты XI, 4 и CXXXI, 21, 3, повествующие единственно об административном устройстве балканских провинций, но не взяты XXVI, 1; XI, 1 и другие, где прямо рассказывается о набегах «варваров», в которых есть все основания видеть славян? То же с Иоанном Лидом: из него отобран для комментирования кусок о восстании Виталиана, в котором, может быть, участвовали славяне. Но, во-первых, Лид не единственный автор, рассказывающий об этом восстании, а во-вторых, у него есть не вошедшие в «Тестимонии» упоминания о «варварах» («О должностях», I, 12; III, 56), вполне напоминающих славян. Почему из Прокопия взяты «Тайная история» (VI, 2) и «О постройках» (IV, 1, 17)? Там ведь вообще ни о каких чужеземцах ни слова — а вот встречающиеся у того же автора топонимы, являющиеся с большой вероятностью славянскими (см. [14; 15]), не упомянуты. Продолжая и подытоживая, можно сказать, что никакие славяне в явном виде не присутствуют у Зосима, Приска, в «Новеллах» Юстиниана, у Лиды, Евагрия, Мосха, Иоанна Антиохийского — т. е. в семи из девятнадцати использованных источников. Конечно, все они в разное время привлекались славистами для тех или иных гипотетических построений, но только ли они! Ф. Буслаев более века назад с иронией писал об эпохе романтизма: «Надобно было доказать, что первоначально вся Средняя Европа была заселена славянами... Славянские фанатики пробегали по этрусским и римским развалинам, отыскивая под ними следы древнейшей цивилизации славянской» [16]. Однако до сих пор выходят работы, где «обосновывается» давно, казалось бы, похороненная идея о славянстве императора Юстиниана I<sup>2</sup>.

Критикуя отбор источников, осуществленный польскими коллегами, надо ведь предложить что-либо конструктивное. Итак, зададимся вопросом, что должно входить в такого рода свод?

У всякого славянина были предки, которых уже по одному этому можно также считать славянами и так дойти хоть до каменного века. В рамках

<sup>2</sup> Не с этим ли связано включение в «Тестимонии» отрывков о родине Юстиниана [1, с. 77, 79, 101, 114, 252]? Но тогда почему в комментариях нет критики этой теории, целиком построенной на фальшивке Нового времени?

этой логики правомерны ретроспекции некоторых археологов, объявляющих «пра-» или «протославянскими» культуры III—II тыс. до н. э. (см., например, [17; 18]). Конечно, приставкой «пра-» можно закрыться от упреков в анахронизме, но подобное словесное лукавство далеко не безобидно, ибо гипнотизирует не только обыденное сознание, но и самих исследователей. В действительности генеалогия археологических культур — не более чем гипотеза: культура «Прага — Корчак» признается первой достоверно славянской именно потому, что ее можно датировать тем же VI в., к которому относятся и первые достоверные письменные известия о славянах; при этом пражские древности не возводимы прямо [19] ни к одной из хронологически предшествовавших ей на той же территории культур, и выбор из их числа «археологического предка» для славян определяется не в малой степени априорной идеей, что должен же он где-то быть. Но весь вопрос в том, насколько этот предок был «славянином»? Где критерий славяинства?

Во всяком случае, таким критерием не может быть антропологический тип, который сильно варьировал уже в самых древних из доподлинно славянских могильников [20]. Наиболее заманчиво счесть главным язык. Если носитель археологической культуры говорил по-древнеславянски, значит, и культура была славянской и сам этнос. Поскольку лингвисты первыми начали заниматься этногенезом, они и по сей день исходят из тождества языка и этноса. Первенство лингвистических критериев не оспаривают и историки: «Именно язык — основное средство... этнической информации» [21]. Это убеждение зиждется на современной повседневной реальности: действительно, люди, живущие в национальных государствах Европы, часто имеют основания определять национальность по языку. Но можно ли экстраполировать эту ситуацию на другие регионы и, главное, эпохи? Скажем, интересующий нас сейчас период раннего средневековья поражает широким распространением многоязычия. Например, Феофилакт Симокатта упоминает («История», VI, 9) некоего гепида, который жил среди славян и при этом свободно говорил на латыни и по-аварски. При дворе Аттилы изъяснялись и по-готски, и по-гуннски, и на латыни, и по-гречески. Протоболгарин Мавр понимал и славянский, и аварский, и греческий. Количество примеров можно умножить. Самое поразительное с современной точки зрения, что правящие группы не только не кичились собственным языком, но и с невероятной легкостью перенимали наречие своих подданных: германцы усваивали латынь, авары — славянский. Вообще, язык начинает играть в Европе консолидирующую роль лишь после VIII в. [22; 23].

Но еще любопытнее наблюдения современных этнографов: люди могут говорить на одном языке и считать друг друга иноплеменниками и наоборот, объективные различия диалектов языка не воспринимаются их носителями, если у них есть сознание своей общности. «Как показывают фактические материалы, для носителей этноса первостепенную важность имеют не объективные сходства или различия языков, которые в первую очередь учитываются этнографами или лингвистами, а те отношения, которые складываются между этносом и соседними иноязычными группами... Следовательно, язык еще не способен определять тот или иной облик этноса» [24]. Среди специалистов царит по этому вопросу полное единодушие: «Язык — не этноформирующий фактор, а этнический признак» [25, с. 57]; «соединение народов в лингвистические группы и прибавление к таким группам слова «этно-» еще не приводит к их превращению в подразделения этнической иерархии» [26]; «этнодифференцирующую функцию язык несет не сам по себе и степень этнической близости или отчуждения не зависит непосредственно от степени взаимопонимаемости... языков. Язык является лишь символом и средством оформления этнического деления или единения» [27].

Существовали ли в таком случае, скажем, индоевропейцы? Как лингвистическая общность — безусловно. Как территориальная — спорно. Как этническая — ни коим образом [28]. «Пользуясь различными так называемыми „объективными“ признаками или комбинируя их, можно разно-

образно классифицировать людей... Так, можно выделить „англюязычных длинноголовых сангвиников“; за такой группой стоят вполне реальные люди, но сами они вряд ли догадываются о существовании подобной группировки» [29, с. 85]. Именно потому, что языковая общность есть не более, чем статистический коллектив, «надо изгнать понятие народа из доисторических исследований» [30]. Итак, не язык делает этнос — наоборот, этнос делает язык.

Что же тогда формирует сам этнос? Как это ни покажется странным — само сознание принадлежности к нему [31, с. 285—290; 32; 33, р. 9]. Если предпосылки возникновения этноса лежат в объективной сфере, то самое его бытие неотделимо от сознания носителей этничности. Поэтому термины внешнего описания («язык», «прародина», «археологическая культура») должны уступить главенствующую роль имманентному критерию этнического самосознания.

В чем разница между понятием «этнос» и другими терминами, описывающими большие массы людей? Когда мы говорим о «классе феодалов» или об «индоевропейцах», мы исходим из того, что люди, принадлежащие к данным образованиям, не обязаны осознавать эту свою принадлежность, что от их сознания здесь ничего не зависит: феодал действовал как феодал, даже не зная этого слова; т. е. мы накладываем нашу сетку понятий на другие эпохи в уверенности, что она поможет лучше в них разобраться.

С этничностью все иначе. Если мы не признаем надмирного существования мистической «души народа» и базируемся на аксиомах рационализма, то термин «этнос» оказывается попросту лишним в отрыве от сознания людей. Грубо говоря, утверждение «мой язык — китайский» не отличается по денотату от утверждения «его язык — китайский», ибо в обоих случаях мы подразумеваем один и тот же объективный феномен — китайский язык, даже если его границы намечены по-разному. Но утверждение «я — китаец» не отсылает ни к какой иной реальности, кроме ментальности говорящего. Обратиться к человеку со словами: «Ты говоришь не по-китайски», значит сказать: «Ты говоришь на другом (или плохом китайском) языке». Фраза же: «Ты не китаец» подразумевает одно: «Ты плохой человек». Никакой объективной априорной «китайскости» в природе не существует: она конвенциональна, т. е. складывается в каждый данный момент, так что китайцы любой эпохи зачастую не признали бы таковыми своих далеких предков.

Разумеется, субъективные ощущения этничности у больших масс людей возникают не на пустом месте и не по капризу, но одни и те же «объективные факторы» могут дать или не дать первотолчок к осознанию народом самого себя. А раз возникнув, этническая идентичность может переразложить собственные предпосылки самым причудливым образом. Например, в своей системе координат мы можем как угодно определять, в чем своеобразие китайцев эпохи Конфуция, но если бы не сохранилось их собственных свидетельств на этот счет, мы никогда не догадались бы, что им был крайне важен способ запахивания халата: истинным китайцем считался лишь тот, кто запахивал его на правую сторону [25, с. 49].

Субстанция самосознания чрезвычайно трудноуловима. Современный этнолог определяет его путем опросов по хитроумно составленным тестам: кто вы такие? как вы отличаете своих от чужих? почему хорошо принадлежать к вашему этносу? какие качества характерны для ваших соплеменников и какие для чужаков? и т. п. Но людей ушедшей эпохи не спросишь. Единственное, что одинаково явлено исследователю как настоящего, так и прошлого, — это с а м о н а з в а н и е этноса. Именно оно увенчивает вызревание этнической самоидентификации [34, с. 6]. Если группа людей не только четко отработала критерии для опознания «своих», но и присвоила себе отдельное имя, значит, самосознание уже прочно оформилось. Ситуации, когда народ есть, а самоназвания нет, у крупных общностей просто не бывает [35, р. 85—86].

Но одного вырванного из контекста имени недостаточно. Нужно удостовериться, действительно ли перед нами с а м о название. Ведь мы почти всегда имеем дело с письменной традицией, инокультурной по отношению

к интересующему нас этносу, а древние писатели весьма произвольно обращались с этнонимикой: они называли современные им народы архаическими именами, под одним именем объединяли разные племена и т. д. «Экзоэтноним в принципе не имеет отношения к этническому самосознанию» [36, с. 13]. Значит, следует иметь гарантии того, что название, зафиксированное чужеземными авторами, не есть плод их домыслов, что оно передает самоназвание народа. Если у нас есть доказательства этому, то нам абсолютно неважно, каково лингвистическое происхождение этнонима: он мог быть дан соседними народами или унаследован от предшественников, мог родиться из имени вождя, из тотема, из клички, из иноязычного профессионального обозначения — откуда угодно. Главное, чтобы имя было усвоено и осмыслено как самоназвание.

Итак, этническая история славян начинается с появления этнической группы, усвоившей этноним «славяне» в качестве самоазвания. Появления где? В письменных источниках. При невозможности опросить живых людей, лишь они открывают путь к исследованию самосознания [37].

Но введенное только что определение также нуждается в уточнении. Например, в VII в. имя «болгары» было самоазванием скорее всего тюркоязычной кочевой орды, а в X в. так называл себя уже славяноязычный оседлый народ, перенявший этноним у основателей Болгарского государства. Значит, самосознание первых носителей этого имени принципиально отличалось от самосознания последующих. Нужно как-то удостовериться, что и со славянами не произошло чего-либо подобного. И вот тут могут сыграть подобающую роль лингвистические факторы: коль скоро в источниках фигурируют люди, которые, с одной стороны, причисляют себя к народу славян, а с другой — носят имена, достаточно убедительно этимологизируемые из славянского, значит, эти первые «славяне» были вдобавок и славяноязычны, что безусловно позволяет начинать этническую историю с них. Такие имена появляются в источниках в VI в. (Дабрагез у Агафия, Пирагаст у Феофилакта Симокатты), к этому же веку относятся и первые фиксации этнонима «славяне».

Настоящая работа носит методологический характер, и поэтому мы не будем вдаваться в подробности того, почему несостоятельны попытки увидеть славян в «ставанах» и «субенах» Птолемея (см. об этом [38, с. 61—62]). Главное препятствие состоит даже не в отождествлении этнонимов, а в том, что первые «свидетельские показания» о славянах все равно принадлежат VI в., а без них голый этноним мало что говорит.

Для этнолога не существует понятия «праславяне». Ведь если не возник еще феномен славянского самосознания, то и предпосылки его складывания незаметны для современников. Исследователь, рассматривающий процесс с точки зрения будущего результата, может реконструировать его зачатки, но это будет опять же — как «праязык» или «археологическая культура» — элемент внешнего описания, не имеющий ничего общего с с а м о сознанием. Допустимо, к примеру, называть каких-либо поэтов предсимволистами, но не может существовать манифеста предсимволистов. Так же невозможно и «праславянское самосознание». Итак, этническая история славян начинается с VI в. н. э.

Прошло уже более ста лет, как был обнаружен последний новый источник о ранних славянах, и ныне вероятность отыскания дополнительных письменных свидетельств крайне мала. Но у нас есть бесценные сообщения Прокопия, который в 537 г. лично познакомился со славянами, когда они служили в византийском войске, где он был советником командующего. Знаменитый славянский экскурс Прокопия, исследованный в контексте всего его творчества, обнаруживает высокую степень достоверности и, несомненно, строится на «свидетельских показаниях» самих славян [38, с. 219; 39]. Опираясь на Прокопия как на фундамент, мы имеем право включить в свод о славянах и другие источники, упоминающие этот этноним: грекоязычных Псевдо-Кесария, Агафия, Малалу, Менаандра, анонимный военный трактат, Маврикия; латиноязычных Иордана, Мартина Брагского, Иоанна Бикларского; сироязычного Иоанна Эфесского. Все эти авторы писали в середине и второй половине VI в. Далее известия о славянах



приобретают регулярный характер. Что же касается более раннего времени, то от весьма сомнительных «суобенов» Птолемея и до 512 г., под которым впервые упоминает славян Прокопий, мы не имеем ни одного, даже отдаленного намека на этот этноним. Да и Прокопий явно вводит упоминание о них как о новом, неведомом доселе народе: «славяне и анты, которые сидят за рекой Истр (Дунай) недалеко от его берега» («История», V, 27, 2). Этот историк никогда не представляет так читателю те народы, которые он полагает хорошо известными. Сложно сказать, с какого момента мы должны были бы вести историю славян, если бы первые фиксации этнонима сильно предшествовали развернутым характеристикам, содержащимся у Прокопия, но судьба избавила нас от этой проблемы: в VI в. славяне буквально врываются на страницы источников.

Но разве не могло быть так, что славяне жили себе на «прародине», ни с кем в контакт не вступали и тем самым не имели шанса дать о себе знать народам, имеющим письменность? Именно такую картину жизни ранних славян рисует О. Н. Трубачев [40]. По его мнению, этот народ был испокон веков склонен к «мирному сосуществованию», не фиксировал внимания на выделении «чужого», а был сосредоточен исключительно на «своем». Лингвистам судить, насколько обоснованы этимологии Трубачева, нам же представляется сомнительным сам методологический фундамент его буколики. Дело в том, что оппозиция «свой» — «чужой» не есть признак агрессивности — без нее невозможно вообще никакое самопознание, ни этническое [41, с. 24], ни тем более этно-потестарное [42, с. 185—188]. «Глубочайшей сущностью этнических противопоставлений является сама граница. Для этнопсихологии этническая граница первична» [43, с. 12]. Поэтому всякое «мы» конструируется не иначе, как посредством сопоставления (противопоставления) с каким-либо «они» [43, с. 4]. Первым откристаллизовывается понятие «чужое» и сразу затем, во взаимоупоре с ним, в отталкивании от него — понятие «свое». У славян этот процесс шел так же, как и у других народов: весьма характерной кажется нам семантическая эволюция слова «люди» и особенно «людской», которое в славянских языках может значить и «свой» и «чужой». Любопытно, что сам О. Трубачев уже в качестве не теоретика, а автора «Этимологического словаря славянских языков» считает, что в праславянской древности первичным было именно значение «чужой» [44]. Значит, сначала «людьми» стали чужие, и лишь затем, когда самосознание окрепло, — свои. Так ведь и с человеком: он не знает, что говорит на языке, пока не услышит чужой язык; он понимает, что сам человек, лишь осознав человеком другого.

Но кто же такие те, у кого еще не выработана своя этническая идентичность? Да обычные люди, не хуже и не лучше других. Этничность ни в каком смысле не является и не являлась в прошлом обязательным атрибутом культуры [45]. Самосознание не возникает в отсутствие контакта с другим обществом [46], ср. [47, с. 9—10]. Тем самым, и про гипотетических самозамкнутых носителей праславянской речи можно сказать, что если они не испытывали склонности к самоидентификации, то и не были славянами в строгом смысле слова. Если же люди осознали свое этническое единство, то это должно было отразиться в появлении самоназвания, а его со временем не могли не узнать соседи, а там и народы, имеющие письменность. Не будем забывать, что речь идет все-таки о Европе: по лингвистическим данным, славофоны тесно контактировали с германцами, а те — уже непосредственно со средиземноморской цивилизацией. Конечно, на процесс трансмиссии этнонима могло уйти какое-то время, но ведь не века же! Античных авторов часто упрекают в равнодушии к «варварам», и это справедливо, но при всем том именно они донесли до нас сведения о народах, куда более отдаленных, чем славяне: лопарях, индусах и др. Да и сколь бы несовершенны ни были находящиеся в нашем распоряжении письменные источники, иных путей узнать хоть что-нибудь об этническом самосознании народов прошлого у нас все равно нет<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Единственное, что может дополнить сведения письменных источников, — это фольклор, точнее, этногенетические предания, которые кинтимно связаны с этническим самосознанием» [48, с. 173]. У некоторых народов, например, полинезийцев, такие пре-

С этой простой истиной очень трудно смириться лингвистам. Как уже отмечалось выше, они слишком долго были монополистами в палеоэтнологии. Например, О. Н. Трубочев уверенно пишет, что «в жизни славян... был период, когда этноним „словене“ отсутствовал» [49, с. 250]. По его же мнению, «Шафарик справедливо оспорил ложный вывод о том, что славян в ту эпоху не было вообще» [49, с. 249]. Но когда работал Шафарик, сами этнографы еще не задумывались, что такое самосознание. Впервые какое-то расхождение между языковой и этнической принадлежностью выявила лишь бельгийская перепись 1846 г. [29, с. 79]. Так что Шафарика не в чем упрекнуть — зато есть в чем упрекнуть Трубочева: ведь в своей сфере он вряд ли удовлетворился бы ссылкой на работу полуторавековой давности. Удивительно, что подобное пренебрежение распространяется не только на историческую науку, но и на сами исторические источники. Так, Трубочев вообще отказывает в доверии византийцам, «рассказывающим о славянах как бездомных бродягах, лесных жителях и грабителях» [40, с. 303]. Но позвольте — какая там бездомность, если о славянском жилище повествуют и Прокопий, и Маврикий, и «Чудеса св. Димитрия»? Лесные жители — но что же тут невероятного и, главное, оскорбительного? Наконец, грабительские походы славян на Византию — это как раз то, что сам Трубочев назвал плодом «увлекающегося права славян, несколько вышедшего из берегов» [49, с. 233]. Еще загадочнее обвинение в «корыстном интересе» [50], из-за которого якобы древние авторы злонамеренно умалчивают о славянстве: в чем состояла корысть, исследователь, к глубочайшему нашему сожалению, не поясняет.

Трубочеву нужно дезавуировать письменные источники, чтобы они не мешали «удревнить» славян до III тыс. до н. э. Между тем его научные оппоненты Г. Лант [51] и О. Прицак [52] воодушевлены диаметрально противоположной идеей — доказать, что ни о каких славянах не может идти и речи до конца VIII в. н. э. Но пользуются они при этом тем же самым методом: компрометацией византийских авторов, их игнорированием. Например, Прицак утверждает, что «славяне» — это профессия тех, кто устраивал водные переправы для кочевников. А ведь чтобы усомниться в этом, достаточно взглянуть в одно-единственное место у Прокопия, где говорится, что в 551 г. славян, возвращающихся из набега, за деньги переправили через Дунай гепиды («История», VIII, 25, 5). Кто из лингвистов прав в споре о времени формирования славянского языка, пусть определяют сами лингвисты, но проблема зарождения славянского этноса должна решаться именно на базе письменных источников, а вот в пользовании ими лингвистам, увы, нелегко уберечься от дилетантизма.

Итак, первым критерием отбора источников мы назвали критерий этнонимической. Однако если мы твердо придерживаемся принципа «свидетельских показаний», то у нас нет причин отвергать свидетельства славян о своем родстве с другими племенами. Причем нам абсолютно неважно, существовало ли родство «объективно» (берем это слово в кавычки, ибо настоящая этничность начинается лишь там, где кончается объективно прослеживаемое родство; родственность же языков, как мы говорили выше, осознается, только когда получает «идеологическую санкцию»); существенно лишь, чтобы идея родственности была фактором самосознания самих славян, а не плодом ученых домыслов древнего автора (как и в случае с экзотнонимом). Так, Иордан, Прокопий и Маврикий независимо друг от друга пишут о родстве славян с антами, а тот же Иордан говорит также о родстве их с венетами. Если этот автор, судя по всему, лишь конструировал умозрительные схемы [52, с. 99], то другие два писателя опираются на показания самих славян. Поэтому мы имеем право ввести в свод данные об антах VI в. Не вообще об антах, а лишь о племенах, именованных так в VI в. Народы меняют названия, этнонимы меняют принадлежность, и мы ничего не можем сказать об этнической идентичности антов IV в., о которых повествует тот же Иордан: во-первых, для разных частей своего тру-

дания весьма детально. Но трудно бывает установить их первоначальный вид, который только и важен для изучения этнической идентичности в момент ее зарождения.

да он (вернее, его предшественник Кассиодор) опирался на разные источники, которые под одним и тем же словом «анты» могли иметь в виду совершенно разные народы; во-вторых, до VI в. не существует фиксации этнонима «славяне», а значит, бессмысленно говорить и о «славянстве» антов IV в. Можно не знать, что говоришь по-славянски, но нельзя не знать, что ты славянин. Тогда ты *не* славянин, только и всего.

Сформулированный нами принцип «свидетельских показаний» в чем-то облегчает, но в основном затрудняет положение исследователя. Облегчает потому, что можно, к примеру, не обращать больше внимания на споры лингвистов вокруг антских антропонимов (см., например, [53]). Пусть дошедшие до нас имена антских вождей хоть германского, хоть иранского происхождения — для этничности это ровно ничего не значит. Но, увы, одновременно приходится отказаться от весьма давней и почтенной научной традиции, возводящей славянские древности к венецким. Между тем доподлинно можно сказать лишь то, что в какой-то момент соседние народы стали называть славян венецями. Самая ранняя фиксация этого отождествления принадлежит Иордану, т. е. относится к VI в., но даже для этого времени неясно, признавали ли его сами славяне. Доказать же славянство птолемеевых и тацитовых венец (не говоря уже о гомеровых эпетах) нет никакого способа. И тем не менее в новейших исследованиях тезис о славянстве этих групп повторяется вновь и вновь (см. [54; 55]).

С точки зрения этнолога славяне появились в истории не ранее середины I тыс. н. э. Впрочем, современная наука решительно «омолаживает» также и другие этносы: практически ни один из европейских народов не прослеживается за пределами Римской империи до ее падения [56]. Вообще, по мере того, как этнография освобождается от гнета националистических предрассудков, она все больше отказывается от поисков в далеком прошлом чистых этнических сущностей. На первый план выступают совсем другие проблемы: группы — носители этничности, условия ее осознания, обстоятельства фиксации в источниках и т. д. [23]. На волне разрушения стереотипов некоторые исследователи вообще отрицают существование этничности до Нового времени. Определенный резон в таких утверждениях есть: действительно, с увеличением числа дорог, школ, газет и особенно с появлением национальной идеологии этническое самосознание приобретает совершенно иной вес. Но ведь оно решительно видоизменяется, скажем, и от XVIII к XX в. Вообще никакая ментальность не пребывает в самотождестве, и в этом смысле нельзя не считать натяжкой даже простую констатацию, будто человек является одной и той же личностью и в двадцать и в семьдесят лет. Нам кажется, тем не менее, что если не забывать об этой текучести понятий, термином «этнос» все-таки можно пользоваться и применительно к средневековью, но очень аккуратно, чтобы наш категориальный аппарат не влиял на сам предмет исследования.

Запаздывание конкретно славянского самосознания — это отдельный вопрос, еще ждущий своего часа. Может быть, нужно внимательнее изучить влияние на этногенез системы родства. Известно, что праславянская терминология в этой сфере выделяется из индоевропейской [57]. Славофоны — единственная группа индоевропейцев, имевшая систему родства «омаха» [58]. Между тем именно эта система, т. е. «существование дуально-родовой организации с двусторонним обязательным кросскузенным браком... исторически коррелирует с ситуацией безэтничности» [47, с. 15]. Может быть, именно характерные для славян и в дальнейшем прочные родовые связи [59; 60] тормозили этнические процессы? Но это, повторяем, отдельная тема, как и вопрос о причинах фантастически быстрой этнической «конденсации» славянства. Все это находится за пределами нашего внимания, поскольку этническая история начинается там, где заканчивается этногенез. «Действительно, можно ли говорить об этнической истории конкретного народа, когда самого народа еще нет?» [61]. Складывание самосознания — завершающий этап очень длительного процесса, и именно этим последним этапом должны заниматься собственно историки. Остальными же стадиями этногенеза пусть займутся археологи и лингвисты, фольклористы и антропологи, и тут историки почти ничем не могут им

помочь. Мало того, попытки обязательно подобрать письменные свидетельства ведут к недоразумениям: вдохновленные авторитетом античных авторов, специалисты из других сфер науки смело превращают гипотезы в аксиомы, не ведая, что цитаты «из древних» подобраны с оглядкой на их же собственные построения. Получается порочный круг. Желательно, чтобы исследователи этногенеза вообще не прибегали к этнонимам, порождающим одни только обманчивые соблазны. Этнические категории (в отличие от антропологических) неуместны в работах лингвистов и археологов, работающих в области этногенеза. Популярные утверждения типа «будины Геродота — это славяне», «венеты Плиния — это славяне» — совершенно бессмысленны, и в создании этих мифов немалая доля вины лежит на историках, поддавшихся искусству иллюстраторства.

Все вышеизложенное не позволяет нам целиком согласиться с мнением Г. Лябуды, что при издании свода источников историк должен рассматривать свою функцию как вспомогательную [62]. По конечным целям — да, но не по методике работы. Не полезно и даже вредно выискивать в источниках народы, которые можно было бы объявить предками славян. Народы — не люди, и родителей у них не бывает. Историк обязан или писать собственно этническую историю или, если он хочет помочь в исследовании этногенеза, дать сводку письменных свидетельств о *территориях*, на которых мог происходить этот процесс (причем обязательно с большим допуском). Но надо отдавать себе отчет, что речь идет о двух совершенно разных задачах!

Создатели сборников документов по истории славянских государств не сталкивались с этой проблемой: историей государства обычно считается история земель, ныне входящих в его границы. Так, историю СССР открывает почему-то не В. И. Ленин, и даже не Рюрик, а мальчик из пещеры Тешик-Таш. Сами территории, на которых впоследствии образовалось то или иное государство, суть географическая константа, и отбор источников, повествующих об этих землях, проводится почти механически. Возможно, именно поэтому Г. Лябуда, набрасывая в 1951 г. подробный план будущего свода по истории Польши, не счел нужным оговорить принцип отбора памятников [10]. Но именно этот набросок, как уже было сказано, в 1976 г. превратился в план издания источников уже о славянской прародине. Не исключено, что здесь сыграла свою роль теория автотхтонизма: польские ученые подсознательно отождествляли «прародину» именно с Польшей. Но когда А. Бжустковска и В. Свобода без специальных оговорок изменили рабочее название «*Testimonia etnogenezy i praojczyzny Słowian*» [12, s. 93] на нынешнее «*Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian*» — они тем самым сделали уязвимы для вопросов, на которые не собирались отвечать.

Можно ли упрекнуть их за это? Нет. Во-первых, споры о началах европейских народов неотделимы от кровавой истории тех же народов в последующие века. В этих спорах, как уже было сказано, слишком долго преобладали националистические обиды и романтические притязания, причем, конечно, не только у славян. Например, немецкие ученые еще и в XX в. переводили заглавие тацитовой «Германии» как «*Deutschland*». Есть научные традиции, которые настолько въелись в сознание, что их и не замечаешь. Во-вторых, само понятие этнического самосознания вышло в этнологии на первый план лишь к 60-м годам нашего века [47, с. 8], да и то не везде: в Восточной Европе, где властям лучше было знать, в чем благо людей и целых народов, чем самим людям и народам, — это понятие пробивало себе дорогу с еще большим трудом. Например, дискуссия об этносе в журнале «Вопросы истории» в 1966—1967 гг. закончилась тем, что критерий этнического самосознания был отвергнут как «субъективный» в угоду чуть перекрашенному «сталинскому определению нации». Так что у науки в наших странах было не очень много времени для переживания новой концепции.

Рискнем предположить, что составители польского свода видели все те сложности, о которых здесь шла речь. Иначе почему *первой* в греческой серии вышла *вторая*, менее спорная часть? Если эта догадка верна, мы

бы посоветовали польским коллегам вовсе отказаться от издания гипотетической первой части, а задуманную латинскую серию начать с Иордана. Другой возможный путь — пересмотреть структуру «древних» разделов с тем, чтобы превратить их в свод источников по истории земель, а не народов. Это бы способствовало избавлению от многих научных мифов, до сих пор бытующих в славистике.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Z. 2. Wydali Brzóstkowska A. i Swoboda W. Wrocław; Warszawa; Kraków, etc., 1989.
2. Zak J. Słowianie i Germanie w prahistorii.— In: Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. T. 1. Poznań, 1974.
3. Antoniewicz W. Niektóre zagadnienia historiografii dawnych Słowian.— Świątowit, 1966, t. 27.
4. Plezia M. Najstarsze świadectwa o słowianach. Poznań, 1947.
5. Мишулин А. В. Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских писателей по VII в. н. э.— Вестник древней истории, 1941, № 1.
6. Plezia M. Greckie i łacińskie źródła do najstarszych dziejów słowian. Cz. 1. Poznań; Kraków, 1952.
7. Labuda G. Słowiańszczyzna pierwotna. Wybór tekstów. Warszawa, 1954.
8. Biliński B. Drogi świata starożytnego ku ziemiom słowiańskim w świetle starożytnych świadectw literackich.— Arheologia, 1947, t. 1.
9. Labuda G. Okres «wspólnoty» słowiańskiej w świetle źródeł i tradycji historycznej.— Slavia Antiqua, 1948, t. 1.
10. Labuda G. Źródła objaśniające początki państwa polskiego. Projekt wydawnictwa.— Kwartalnik Historyczny, 1951, № 1.
11. Labuda G. Fragmenty dziejów słowiańszczyzny zachodniej. T. 1. Poznań, 1976.
12. Brzóstkowska A., Swoboda W. Prace nad testimoniami etnogenezy i praojczyzny Słowian.— Slavia Antiqua, 1979, t. 26.
13. Иванов С. А. Неиспользованное византийское свидетельство VI в. о славянах.— Византийский временник, 1988, т. 49, с. 181—184.
14. Дуриданов И. Заселването на славяните в Горна Мизия по данните на топонимията.— Славянска филология, 1983, т. 17.
15. Гиндин Л. А. Значение лингво-филологических данных для изучения ранних этапов славянизации Карпато-Балканского пространства.— В кн.: Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей. М., 1987.
16. Буслаев Ф. Иностранные слова в славянских наречиях.— Журнал Министерства народного просвещения, 1867, № 135, с. 544.
17. Тереножкин А. И. Общественный строй скифов.— В кн.: Скифы и сарматы. Киев, 1977.
18. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 217—222.
19. Седов В. В. Ранний период славянского этногенеза.— В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, с. 83.
20. Седов В. В. Славяне Среднего Поднепровья.— Советская этнография, 1974, № 1.
21. Королюк В. Д. К исследованию в области этногенеза славян и восточных романцев.— В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, с. 20.
22. Pohl W. Strategie und Sprache zu den Ethnogenese des Frühmittelalters.— In: Entstehung von Sprachen und Völkern. Tübingen, 1985, S. 98—99.
23. Geary P. Ethnic Identity as a Situational Construct in the Early Middle Ages.— Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 1983, Bd. 113, S. 20.
24. Шнирельман В. Проблема доклассового и раннеклассового этноса в зарубежной этнографии.— В кн.: Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982, с. 236.
25. Крюков М. В. Эволюция этнического самосознания и проблема этногенеза.— В кн.: Расы и народы. Т. 6. М., 1976.
26. Козлов В. И. О соотношении этноса и языка в системе этнической иерархии.— В кн.: Расы и народы. Т. 18. М., 1988, с. 45.
27. Арутюнов С. А. Этнические процессы и язык.— В кн.: Расы и народы. Т. 15. М., 1985, с. 51.
28. Untermann J. Ursprache und historische Realität.— In: Studien zur Ethnogenese. Opladen, 1985, S. 127—128.
29. Козлов В. И. Проблема этнического самосознания и ее место в теории этноса.— Советская этнография, 1974, № 2.
30. Mühlmann W. Ethnogenie und Ethnogenese.— In: Studien zur Ethnogenese. Opladen, 1985, S. 16.
31. Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы: проблемы этногенеза. М., 1978.
32. Чебоксаров Н. Н. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых.— Советская этнография, 1967, № 4.
33. Isajiw W. Definitions of Ethnicity. Toronto, 1979.

34. *Крюков М. В.* «Люди», «настоящие люди» (к проблеме исторической типологии этнических самоназваний).— В кн.: Этническая ономастика. М., 1984.
35. *Dole G.* Tribe as the Autonomous Unit.— In: Essays on the Problem of Tribe. Washington, 1968.
36. *Крюков М. В.* Этнос и субэтнос.— В кн.: Расы и народы. Т. 18. М., 1988.
37. *Faim F.* Gedanken zum Ethnosbegriff.— Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 1982, Bd. 112.
38. Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I. М., 1991.
39. *Гантар К.* Византијски историчар Прокопиј из Цезареја и његови усмени извори.— Зборник филозофског факултет Београд, 1979, т. 14, № I.
40. *Трубачев О. Н.* Славянская этимология и праславянская культура.— В кн.: X Международный съезд славистов. Славянское языкознание. Доклады советской делегации. М., 1988.
41. *Бромлей Ю. В.* Современные проблемы этнографии. М., 1981.
42. *Куббель Л. Е.* Очерки потестарно-политической этнографии. М. 1988.
43. *Поршнев Б. Ф.* Противопоставление как компонент этнического самосознания. М., 1973.
44. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 15. М., 1988, с. 206.
45. *Шервуд Е. А.* Некоторые особенности этнических процессов у германских племен в период разложения первобытно-общинных отношений.— В кн.: Проблемы романизации, этногенеза и городского устройства. М., 1977, с. 142.
46. *Шнирельман В.* Протоэтнос охотников и собирателей.— В кн.: Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982, с. 100—102.
47. *Крюков М. В.* Этничность, безэтничность, этническая непрерывность.— В кн.: Расы и народы. Т. 19. М., 1989.
48. *Алексеев В. П.* Историческая антропология и этногенез. М., 1989.
49. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики.— В кн.: IX Международный съезд славистов. Славянское языкознание. Доклады советской делегации. М., 1983.
50. *Трубачев О. Н.* Свидетельствует лингвистика.— Правда, 1984, 13 XII.
51. *Lunt H.* Slavs, Common Slavic and Old Church Slavonic.— In: Litterae Slavicae Medii Aevi. München, 1985, p. 197.
52. *Pritsak O.* The Slavs and the Avars.— In: Gli Slavi occidentali e meridionali nell' alto Medioevo. Spoleto, 1983, p. 409—420.
53. *Struminskyj B.* Were the Ants Eastern Slavs? — Harvard Ukrainian Studies, 1979/1980, Vol. 3/4.
54. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1981.
55. *Ditten H.* Zu Fragen des Siedlungsgebietes der Slawen der Antike (1—6 Jh.) nach den schriftlichen Quellen.— Klio, 1989, Bd. 71, № 1.
56. *Petrikovits H. von.* Fragen der Ethnogenese aus der Sicht der römischen Archäologie.— In: Studien zur Ethnogenese. Opladen, 1985, S. 121.
57. *Edmonson M.* Kinship Terms and Kinship Concepts.— American Anthropologist, 1957, vol. 59, № 3, p. 407.
58. *Gates H. P.* The Kinship Terminology of Homeric Greek. Bloomington, 1971, p. 55—56.
59. *Gasparini E.* Il matriarcato slavo. Firenze, 1973, p. 387—390.
60. *Ghurye G.* Family and Kin in Indo-European Culture. Oxford, 1955, p. 208.
61. *Волкова Н. Г.* Этническая история: содержание понятия.— Советская этнография, 1985, № 5, с. 22.
62. *Labuda G.* Aktualny stan dyskusji nad etnogenezą Słowian.— Slavia Antiqua, 1977, t. 24, s. 4.



ТОРБУС А. (Польша)

## КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС В ИДЕОЛОГИИ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И ПОЛЬСКОГО ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 40-ГОДОВ XIX ВЕКА

Усиление крестьянской борьбы на территории Российской империи в 40-х годах XIX в. привлекало пристальное внимание передовой общественной мысли к проблеме освобождения крестьян. «С 1842 г., — писал А. И. Герцен, — главным занятием мыслящих русских было обдумывание способа раскрепощения крестьян. Все другие задачи зависели от того» [1]. Крестьянскому вопросу уделялось видное, часто центральное место в идейных исканиях участников кружков (организаций), сложившихся в среде оппозиционно настроенных представителей общества. Наиболее крупными из них были кружки петрашевцев в России, Кирилло-Мефодиевское братство на Украине, конспиративные организации Королевства Польского: Т. Вернера — Я. Кшивицкого, К. Левиту, Х. Вокульского, Ю. Хмелевского, «Фратернитатис», Г. Гзовского, А. Гросса, А. Карпиньского и других, П. Сцегенного, «Организация 1848 года». Многие аспекты их программ и деятельности, в том числе связанные с подходами к решению крестьянского вопроса, уже освещались в советской и польской литературе [2]. Однако исследования, в которых бы в сравнительном плане анализировались теоретические воззрения участников освободительных движений, отражались сходные и отличные стороны их идейного развития, являются пока исключением [3].

Мировоззрение участников русского, украинского и польского движений имело общие идейные источники — утопический социализм, просветительство и т. д., что не исключало, однако, разнообразия и противоречивости суждений об условиях и методах освобождения крестьян. Различия объяснялись неоднородностью социального состава кружков (организаций), которая отражала специфику переходного периода в развитии освободительных движений. В обстановке обостряющегося кризиса крепостничества дворянская (шляхетская) революционность, в силу своей сословно-классовой природы тесно связанная с более умеренными оттенками оппозиционности, ориентацией на реформистский путь решения общественных проблем, уступала место революционности разночинской. Немаловажное значение имело усвоение петрашевцами, членами Кирилло-Мефодиевского братства и польскими конспираторами революционных традиций и духовного наследия своих народов, в том числе сложившихся социально-политических идеалов. Все эти факторы способствовали возникновению среди участников кружков (организаций) радикального и умеренного направлений, представители которых имели собственную позицию в крестьянском вопросе.

Торбус Анджей — адъюнкт Межвузовского института политических наук Лодзинского университета.

Из петрашевцев проблемой освобождения крестьян занимались прежде всего М. В. Буташевич-Петрашевский и А. П. Беклемишев, каждый из которых изложил взгляды по этому вопросу в своих проектах. Однако и высказывания других участников кружков представляют большой интерес. Все они были едины в том, что освобождение крестьян без земли невозможно, но высказывали сомнения относительно того, пойдут ли помещики на ее передачу крестьянам. Так, В. А. Головинский, давая показание следственной комиссии, говорил, что освобождение крестьян «может произойти двояким образом, или правительственным или общественным. В первом случае правительство, собравши данные, разрешает этот вопрос в силу самодержавного права, не спрашивая у помещиков, желают ли они того или не желают». Однако более предпочтительным Головинский считал «общественный» способ, «когда дворянство какой-либо губернии (или какого-либо уезда), заключив условия со своими крестьянами, просит у правительства утверждения их». Он указывал, что дворяне лучше знают своих крестьян, чем правительственные чиновники, и поэтому могут вникнуть в крестьянский вопрос во всех подробностях. Головинский не упускал из вида препятствий, которые, по его мнению, возникают при освобождении крестьян подобным путем. «Первое, и самое важное, — отмечал он, — с е б я л ю б и е — захочет ли кто отказаться от настоящих выгод из видов справедливости и будущей экономической пользы; в т о р о е — малое знание экономических начал, ибо освобождение крестьян было бы выгодно (в будущем) и для самих помещиков» [4, т. 3, с. 219].

В действительности же взгляды Головинского на урегулирование крестьянского вопроса были более радикальными, чем его ответы следственной комиссии. Так, на собрании кружка Петрашевского 1 апреля 1849 г. Головинский указывал на неспособность правительства изменить положение простого народа: «Освободить крестьян правительство не может иначе, как освободить их вместе с землями, освободив же их с землями, оно должно будет вознаградить помещиков за потерю их земель, а где оно возьмет на это средства? Освободив же крестьян без земель или не заплатив за эти земли помещикам, оно должно будет поступить революционным образом — и, следовательно, должно будет действовать само против себя». По словам П. Д. Антонелли, Головинский высказывал мнение, что в данный момент «освобождение крестьян не представляет никакого чрезвычайного затруднения, потому что они сами уже в эту минуту сознают всю тягость и всю несправедливость своего положения и стремятся всячески от него освободиться» [4, т. 3, с. 426]. Однако меры, принимаемые правительством, не удовлетворяют крестьян, способствуют нарастанию недовольства народных масс. В этой связи, как свидетельствовал Н. И. Григорьев, для освобождения крестьян Головинский «предлагал одну меру только, восстание самих крестьян» [4, т. 3, с. 243].

Ближних взглядов придерживались К. И. Тимковский, П. Н. Филиппов, Р. А. Черносвитов и Н. А. Спешнев. Последний с самого начала был сторонником революционного пути борьбы и видел в нерешенности крестьянского вопроса достаточный повод к народному восстанию. Известно, что в бумагах Спешнева имелось «Рассуждение о крепостном состоянии, о необходимости неотлагательного уничтожения его в России и о составлении общества из лиц, действующих для достижения сей цели» [5, с. 89]. Документ не сохранился. Но, как следует из текста составленного им же «Проекта обязательной подписки для членов тайного общества», целью создаваемой Спешневым организации являлось вооруженное восстание [4, т. 3, с. 445—446]. Планы будущего восстания, которое должны были начать сибирские крестьяне и рабочие уральских заводов, подробно обсуждались Спешневым и Черносвитовым. В их беседах важное место отводилось также проблемам урегулирования крестьянского вопроса. Как можно заключить из следственных показаний, они были едины в том, что ликвидация крепостного состояния является «самой... полезной реформой в России» [4, т. 3, с. 459].

М. В. Петрашевский занимал более умеренную позицию в крестьянском вопросе. Побудившие его выступить за освобождение крестьян



причины во многом совпадали с мотивами В. А. Головинского. Однако существовали и некоторые различия. Головинский рассматривал задачу освобождения крестьян сквозь призму абстрактной идеи справедливости, присущей его мировоззрению. Пути дальнейшего развития общества он представлял достаточно неопределенно. Петрашевский, наоборот, в вопросе освобождения крестьян исходил из своей детально разработанной модели будущего общества. Связывая социализм с коллективной формой общественного устройства, с более современной организацией труда, он писал о навеянной произведениями Ш. Фурье новой общине-фаланстере, в которой общественная собственность на землю и орудия труда сочеталась бы с частным предпринимательством.

Существующие в крестьянском «миру» отношения, по мнению многих петрашевцев, уже содержали в себе зачатки демократического общественного устройства, под которые необходимо было подвести материальное основание. Особенно подробно эти вопросы разрабатывались так называемыми «чистыми фурьеристами», объединенными в кружке Н. С. Кашкина. Однако и другие петрашевцы — С. Ф. Дуров, В. А. Милютин, А. П. Беклемишев — уделяли им много внимания. Беклемишев изложил свои взгляды на проблему общины в записке «О выгодах сообщения с дроблением по разным отраслям труда», в которой, применяя систему Фурье к общественному быту России, доказывал преимущество новой системы в отношении «домашнего, земледельческого, мануфактурного и торгового труда» [4, т. 2, с. 340—350].

М. В. Петрашевскому принадлежало два документа, непосредственно посвященных урегулированию крестьянского вопроса. Распространяя первый из них — литографированную записку «О способах увеличения ценности дворянских или населенных имений» — в дворянском собрании Санкт-Петербургской губернии в феврале 1848 г., Петрашевский пытался начать публичное и легальное обсуждение запретной крестьянской темы. В связи с задолженностью большинства помещичьих имений и их хозяйственным упадком постановка этой проблемы, по мнению Петрашевского, должна была заинтересовать самих помещиков. Записка носила довольно умеренный характер. Выдвигая на первый план интересы помещиков, Петрашевский предложил конкретные меры, призванные способствовать преодолению экономических трудностей, с которыми они столкнулись. В их число входили распространение возможности владеть «населенной землей» на недворянские сословия, главным образом купечество, предоставление «крестьянам права выкупаться за известную сумму» при переходе земли в руки недворян. Кроме того, Петрашевский предлагал создать уездные «сохранные кассы» для крестьянских сбережений, считая, что таким образом в общественный оборот будут введены «значительные капиталы, ныне находящиеся без движения». Кассы, по мнению автора, облегчили бы выкуп крестьян и сделали бы освобождение последних результатом их «труда и благоразумия, а не странного жертвования других» [6, т. 2, с. 82—83]. Как явствует из его показаний следственной комиссии, Петрашевский намеревался, руководствуясь правительственными указами по крестьянскому вопросу, «предложить в С. Петербургском дворянском собрании несколько мер, прямо способствующих к возвышению ценности населенных имений и косвенно содействующих к освобождению крестьян» [4, т. 1, с. 123]. Совершенно справедлив вывод В. Р. Лейкиной-Свирской о том, что Петрашевский, отталкиваясь в своей записке от указов об обязанных крестьянах (1842) и о праве выкупа с земель при продаже имений с торгов (1847 г.), делал освобождение крестьян независимым ни от инициативы, ни от согласия помещика. Однако предлагаемые Петрашевским меры не встретили одобрения многих других участников кружков, увидевших в них поддержку интересов купцов и «финансовой аристократии» [5, с. 90—91].

Несколько позднее Петрашевский разработал «Проект об освобождении крестьян», отразивший как программные позиции автора, так и эволюцию его взглядов по крестьянскому вопросу. Показав полицейско-крепостнический характер законов, принимаемых царским правительством

вом с целью ослабления внутреннего напряжения в стране, Петрашевский высказывался за «прямое, безусловное освобождение» крестьян «с той землею, которая ими была обрабатываема, без всякого вознаграждения за то помещика» со стороны сельских труженников. Все расходы, связанные с возмещением помещичьих убытков, возлагались Петрашевским на правительство. Таким образом, проведение реформы не влекло за собой выкупных платежей крестьян. Для смягчения резкости суждений автор «Проекта» прибег к пространным объяснениям по поводу того, что «род человеческий есть в *совокупности* (курсив мой. — А. Т.) обладатель земного шара» и реформа не может разорить дворянство, ибо «при сем разделе на долю помещиков придется хорошая, чуть не львиная часть» [7].

В определении путей ликвидации крепостничества Петрашевский никогда не был сторонником крестьянского восстания. Напротив, имеется множество доказательств того, что он предлагал достигнуть этой цели мирными средствами. Он был убежден, что крестьянской реформе должна предшествовать судебная, так как она затрагивала все слои общества. Отмена же крепостного права, подчеркивал Петрашевский, отвечала интересам только двенадцати миллионов помещичьих крестьян мужского пола и не могла получить поддержки других сословий, в особенности дворянства, в массе своей противившегося освобождению крестьян. Он опасался вооруженного столкновения сословий, крестьянского бунта, который при существующей тогда расстановке сил в стране мог быть подавлен и вызвать реакцию, осложняющую и отдаляющую решение аграрного вопроса. Поэтому преобразования в российской деревне Петрашевский предполагал осуществлять постепенно, путем реформ. Менее сложным делом казалось ему улучшение судопроизводства: мобилизуя все слои общества, требование судебной реформы могло бы в будущем поднять на антикрепостнические выступления значительные массы населения. Учитывая низкий уровень политического сознания народа, сильно укоренившиеся в крестьянской среде царистские иллюзии, Петрашевский считал, что русский народ в данный момент не готов к решительным действиям. Поэтому на первый план выдвигались задачи распространения социалистических идей в кругу передовой интеллигенции. Пропаганде социализма должна была предшествовать длительная общепросветительская работа в народных массах [4, с. 1, с. 543].

Взгляды Петрашевского на пути решения назревших проблем во многом разделяли Д. Д. Ахшарумов, А. В. Ханьков, И. М. Дебу, Н. А. Момбелли и другие петрашевцы. Момбелли, например, писал: «От одного слова свободный, от того, что вместо помещичьего крестьянин делается исключительно казенным, благосостояние его еще не везде улучшится». Исходя из посылки о том, что помещики должны заботиться о «некотором образовании крестьян», он предлагал «выбрать из среды... самих крестьян наиболее способных и сделать из них сведущих земледельцев» путем обучения в специальных школах [4, т. 1, с. 228]. Таким образом, Момбелли видел взаимосвязь просвещения и освобождения крестьян от крепостной зависимости.

В записках А. П. Беклемишева, чиновника министерства внутренних дел, посещавшего собрания петрашевцев, проводилась мысль о необходимости освобождения крестьян с землей для предотвращения возможного бунта. Беклемишева мало интересовала «высшая справедливость» или «будущее идеальное общество». В своих проектах он исходил из существовавших реалий. Зная о распространившихся среди крестьян слухах о том, что царь якобы уже дал им волю, но помещики ее скрыли, а также наблюдая нарастающую активность народных масс, Беклемишев пришел к выводу, что настоящее положение вещей не может продолжаться и чревато гибельными последствиями для помещиков. По поводу крестьян он писал, что если «не дать им собственности, которая есть первое основание порядка, то они неминуемо будут искать свободы в праздности, пьянстве и буйстве; за этим последуют грабительства, убийства — хозяйство будет совершенно остановлено и 60 000 000 лю д е й м о г у т у м е р е т ь с г о л о д у». Условия освобождения помещичьих крестьян сво-

дились, согласно Беклемишеву, к передаче в их полную собственность надельной земли, переходу на крестьян части задолженности помещиков казне, введению на первые три года порядка, обязывающего ставить по требованию помещика известное число работников, конных или пеших, за плату, которая должна быть назначена по каждому уезду [4, т. 2, с. 395]. Эти и другие предлагаемые Беклемишевым нововведения в деревне отражали интересы помещиков и представляли собой один из вариантов решения крестьянского вопроса «сверху», через развитие в деревне капиталистических отношений по прусскому пути. Беклемишев был не одинок. Отдельные его соображения поддерживали Н. Я. Данилевский и И. Л. Ястржембский.

Необходимо подчеркнуть, что, осмысливая различные варианты урегулирования крестьянского вопроса, петрашевцы высказывали и некоторые сомнения относительно того, насколько отмена крепостных порядков в действительности облегчит положение народных масс. М. В. Петрашевский предостерегал, что, «будучи свободными они (крестьяне.— А. Т.) должны будут платить и за право торговли, и за обязанность служить по выборам, и мало ли еще за что, так что платить им придется гораздо большую сумму, нежели оброк» (см. [5, с. 96]).

Не все петрашевцы были сторонниками коренных перемен. На охранительных позициях стояли К. М. Дебу и П. А. Кузьмин. Последний видел в крепостной системе гарантию внутривнутриполитического равновесия в стране. По словам П. Д. Антонелли, в споре с В. А. Головинским Кузьмин доказывал, что «вопрос о освобождении крестьян даже опасно и трогать, потому что правительство имеет в нем опору против дворян, т. е. когда дворянство откажется поддерживать правительство, то это последнее объявит им (крестьянам.— А. Т.) свободу и таким образом найдет в них себе защиту и противопоставит их дворянам» [4, т. 3, с. 426].

Однако Кузьмин и Дебу стояли особняком в ряду петрашевцев. Большинство участников петербургского «заговора идей» достаточно определенно высказывались за освобождение крестьян с землей и расходились лишь во взглядах на пути достижения этой цели, хотя нередко различия носили принципиальный характер.

Кирилло-Мефодиевское братство просуществовало гораздо меньшее время, чем кружки петрашевцев, и значительно уступало последним по численности и степени разработки программных положений. Воззрения по крестьянскому вопросу были у его членов далеко не однозначными. В уставе Кирилло-Мефодиевского братства отсутствовало четкое представление относительно путей уничтожения крепостного права. Эта важная задача формулировалась лишь в самом общем виде: «Общество будет стараться заранее об искоренении рабства и всякого уничтожения низших классов». Требования всеобщего равенства, братства, свободы, уничтожения монархии и существующих сословий сочетались у «братчиков» с окрашенной идеями христианского социализма проповедью примирения всех сословий. «Господа обязаны освободить рабов и сделать их братьями, а богатые должны наделять нищих, и нищие стали бы также богатыми», — отмечалось в программном документе организации «Закон божий». Устройство будущего общества кирилло-мефодиевцы рассматривали через призму тех «братских» отношений, которые якобы существовали в прошлом. Отсюда идеализация раннехристианских общин и казацких товариществ, «куда каждый вступая, был братом других — был ли он прежде господином или рабом, лишь бы он был христианин» [8, с. 88, 153, 156].

Изучение материалов Кирилло-Мефодиевского братства нередко приводило исследователей к выводу о его революционной направленности. Более глубокое рассмотрение деятельности «братчиков», анализ различных толкований основных программных положений, в том числе по крестьянскому вопросу, позволяют выделить в составе организации революционное и либеральное направления.

Сторонниками радикального пути освобождения крестьянства являлись Т. Г. Шевченко и Н. И. Гулак. В определенной степени по своим взглядам к ним приближались И. Я. Посада, Н. И. Савич и А. А. Нав-

роцкий. Изучая прошлое славян, Гулак пришел к заключению, что крепостное право возникло не потому, что славяне забыли идеи Христа. В историческом трактате «Юридический быт поморских славян» он отмечал, что после того как славяне заселили все земли, принадлежащие им ныне, «беднейший класс... естественным образом пришел в необходимость поселяться на чужих землях уже не в качестве челяди, принадлежащей к родовой общине, но и не как вотчинник, а за платеж известного чинша от земли и за отработывание известных повинностей: вот начало крепостного права у славян» [9, ч. 2, л. 41]. Выход из этого состояния Гулак видел в революции, в освобождении крестьян их собственными силами. Широко известен призыв Т. Г. Шевченко к народу в его знаменитом «Завещании»: «Схороните и вставайте, цепи разорвите, злою вражескою кровью волю окропите» [10]. У революционно настроенных «братчиков» мы не находим указаний о том, будут ли крестьяне наделяться после освобождения землей или нет, какова будущая форма владения ею и т. д. Но ориентация на восстание народа показывает, что они имели в виду уничтожение помещичьего гнета и дворянского сословия вообще, полную экспроприацию земли в пользу крестьян.

С умеренными проектами крестьянской реформы в Кирилло-Мефодиевском братстве выступали Г. Л. Андрузский, В. М. Белозерский, Н. И. Костомаров и П. А. Кулиш. Воззрения Андрузского по крестьянскому вопросу прослеживаются по мало изученным проектам и запискам, найденным в его бумагах при обыске. Значительную трудность представляет их точная датировка и определение последовательности написания. Те из документов, которые, на наш взгляд, имеют законченный вид, затрагивают проблемы преобразования деревни очень кратко. Так, в «Проекте возможной степени равенства и свободы (преимущественно в славянских землях)» Андрузский исходил из необходимости упразднения существующих сословий и установления «равных прав государственных для всех». Однако безоговорочное предоставление личной свободы государственным и удельным крестьянам не распространялось автором проекта на помещичьих крепостных. Андрузский лишь перечислил ряд частных ситуаций, ведущих к их освобождению (после смерти владельца, не имеющего прямых наследников, по выслуге лет и т. д.), и предлагал всячески поощрять дворян, добровольно дающих вольные. Эти достаточно умеренные по своей сути рекомендации позволяют видеть истинный смысл сделанного «братчиком» вывода о том, что «помещик владеет не крестьянами, а землю, крестьяне же служат ему по земле». Безземельным селянам «Проектом» предписывалось обязательное занятие несельскохозяйственными видами деятельности [9, ч. 8, л. 10 об.— 11 об.].

В другом сочинении («Идеал государства») Андрузский склонялся к делению общества на сословия. Правда, это не прежние сословия, принадлежность к которым определялась происхождением. Сословия Андрузского основаны на индивидуальных способностях граждан и ориентированы на выполнение общественно полезных функций. «Все они,— по мнению автора,— должны иметь свои права по мере приносимой ими пользы». Большое значение придавалось земледельческому сословию, которое «доставкою своих материалов питает и поддерживает целое государство» [9, ч. 8, л. 12].

Известен также еще один набросок Андрузского, крайняя умеренность которого позволяет предположить, что в нем отразились не представления «братчика» об идеальном общественном устройстве, а его соображения, призванные усовершенствовать проводимую в те годы в Киевском генерал-губернаторстве инвентарную реформу. Помещик обязывался предоставить крестьянину жилище, скот, инвентарь и определенный (по-видимому, очень скромный) полевой надел. Барщинные отработки не только фиксировались, но и выполнялись за значительное вознаграждение, что упомянутой правительственной реформой не предусматривалось. Сохранялась, хотя и подвергалась законодательной регламентации, личная зависимость крестьянина от помещика, его сословное неравенство. К свободе вели лишь очень немногие пути вроде достижения определен-

ного образовательного ценза или нетрудоспособного возраста [9, ч. 8, л. 19—20 об.].

Другому члену Кирилло-Мефодиевского общества, В. М. Белозерскому, единственно верным представлялся мирный путь пропаганды, просвещения и образования простого народа. Высказываясь за необходимость уничтожения крепостного права, полного освобождения крестьян, он призывал стремиться «к воцарению... свободы, братства, любви и народного благосостояния», будучи при этом сторонником примирения классовых противоречий [9, ч. 4, л. 69].

Сходной точки зрения придерживался и Н. И. Костомаров, мечтавший о временах, когда «знатные извергнут в огонь свои суетные знаки и с благородством человека станут рука с рукою с теми, которые едва считались за людей» [9, ч. 3, л. 34].

С аналогичных позиций к крестьянскому вопросу подходил также П. А. Кулиш. В написанном им «Историческом рассказе» прямо высказана мысль о том, что «вырвать крепостного из рук помещика... для нас было бы делом последним». Ссылаясь на исторический пример Англии, где «не право и не декрет, а культура уничтожила крепостничество», Кулиш призывал забыть политику и ждать часа, «когда от одного нашего слова упадут стены ерихонские» (цит по: [11]). Во всех случаях, и в частности, ссылаясь на опыт «уманьской резни» 1768 г., он старался доказать, что в восстании нет необходимости, что оно несет только вред [9, ч. 5, л. 86]. Идеалом Кулиша было освобождение крестьян «сверху» по мере роста образованности населения и убеждения помещиков в необходимости реформ. Говоря о просвещении народа, Кулиш, в отличие от Белозерского, готовившего свои школьные проекты к отправке в петербургские инстанции, считал, что «делать возгласы об этом крайне безрассудно. Надобно делать так, — писал он Костомарову, — что будто бы это произошло случайно: помещик увидел в книжной лавке книжку и купил для своей сельской школы» [9, ч. 3, л. 46]. Такой шаг навстречу к крестьянам, по мысли Кулиша, должен был вести к сглаживанию их обид на помещика, а в конечном счете к классовой гармонии. В изданной в 1846 г. «Карманной книжке для помещиков и лучших извлеченных из опыта способов управлять имением» Кулиш связывал свои надежды на улучшение быта крестьян исключительно с «бескорытием и справедливостью помещиков» (см. [8, с. 107—108]). Вместе с тем он полагал, что освобождение крестьян может происходить только с землей, ибо «не пролетариями должны были быть отпущены на волю просвещенные до известной степени крестьяне, а такими хозяевами, из которых каждый образовал бы самостоятельную школу грамотности ремесленной и земледельческой культуры» [12].

Таким образом, большинство «братчиков» основным способом преобразования крепостнического общества считали пропаганду и просвещение. Даже наиболее радикально настроенные из них не отвергали этого пути.

Своеобразие задач, которые ставились при решении крестьянского вопроса польскими конспираторами, обуславливалось прежде всего нерешенностью национального вопроса. До начала 1830-х годов аграрные преобразования в их программе были полностью подчинены борьбе за национальное освобождение. Даже те, кто понимал значение антифеодальной борьбы, считали возможным отложить решение крестьянского вопроса до того времени, когда будет восстановлена независимость Польши. Новый подход начал складываться в ходе острейших дискуссий, связанных с оценкой итогов восстания 1830—1831 гг. Многие из его участников основную причину поражения видели в нежелании руководителей восстания — представителей аристократии — обратить внимание на социальную проблему и революционный потенциал крестьянства. «Интересы шляхты и интересы народа в такой же степени противоречили друг другу, как свобода и рабство, достаток и нужда. Единственным результатом разрыва единства, раздвоения сил нации явилось всеобщее бессилие», — говорилось в манифесте созданного в эмиграции Польского демократического общества (ПДО). Поэтому ПДО, указав в акте своего основания от 17 марта 1832 г. на необходимость социальной реформы, приняло ре-

шение трудиться в духе демократических принципов над восстановлением независимости страны и освобождением масс. Была признана необходимость активного участия народа в восстании, а его главнейшим лозунгом провозглашалось «освобождение простого народа, возвращение в безусловную собственность народу захваченной у него земли», а также раздел ее с выплатой шляхте определенной компенсации. Несколько позже за народное восстание высказалась другая, действовавшая в эмиграции, организация «Люд Польский»: «Польша воспрянет не благодаря шляхте, — указывалось в одном из ее документов, — но благодаря народу, но благодаря жертвам, принесенным на алтарь народа». Основываясь на идеях утопического социализма, члены «Люда Польского» утверждали: «Мы против раздачи крестьянам в индивидуальную наследственную собственность земли, которая по праву принадлежит всему народу» [13, т. 2, с. 468, 470, 477, 558, 583]. Следовательно, большинством в ПДО крестьянский вопрос решался на основе буржуазно-демократических преобразований, а большинством из «Люда Польского» — с учетом социалистической перспективы развития общества, как они ее понимали.

Программы польских конспираторов 1840-х годов формировались под большим влиянием идей эмиграции [14]. Однако близость к народу, более четкое представление о потребностях освободительного движения внутри страны не могли не вызывать некоторых различий в подходе конспираторов к крестьянскому вопросу. Если в ПДО социальной проблеме по-прежнему отводилась подчиненная роль по отношению к национальному вопросу, то в Королевстве Польском для большинства конспираторов они были равновеликими и неразрывно связанными друг с другом. В воззрениях некоторых конспираторов (например, П. Сцегенного) социальные задачи движения даже превалировали над национальными.

Обоснование польскими конспираторами необходимости освобождения крестьян, уничтожения феодального гнета в целом совпадало с воззрениями петрашевцев и «братчиков», исходивших из теории естественного права и различных систем утопического социализма. Например, теоретик польского национально-освободительного движения Г. Каменьский, утверждавший, что «первые владельцы земли стали таковыми или вследствие завоевания... или же вследствие какого-либо другого вида физического насилия», выступал за восстановление былой справедливости [13, т. 2, с. 668]. Э. Дембовский, ссылаясь на дохристианские славянские общины, считал необходимым установление аналогичных общественных отношений, путь к которым он видел прежде всего в справедливом решении крестьянского вопроса.

Сердцевиной социальной программы польских конспираторов являлась передача в собственность крестьян достаточных для их хозяйственной самостоятельности земельных наделов, поскольку такая перспектива могла привлечь крестьянские массы к восстанию. Так, А. Денкер привел во время следствия следующее рассуждение В. Венцовского (члена варшавско-люблинского кружка Г. Гзовского): «Надо крестьянам сказать, что земля, которую они имеют, будет их собственностью, что панов не будет, что их имущество будет разделено между крестьянами за их рабство и работу». Другой участник этой конспиративной организации, И. Василевский, говорил, что единственным средством возрождения Польши является наделение крестьян землей. Еще более четко сформулированы эти мысли конспиратором Л. Липским, по словам которого руководитель кружка, в который он входил, Т. Вернер, призывал разъяснять крестьянам, что «они могут бороться за собственные свободы, за собственную землю, что они освобождены навсегда от барщины и чинша, что земля, которую они сегодня обрабатывают, останется их исключительной собственностью, что в употреблении прав и свобод все будут равны» [15, с. 213, 383, 408]. «Первый самостоятельный шаг Польши, — писал в работе „О жизненных истинах польской нации“ Г. Каменьский, — должен заключаться в том, что каждый крестьянин-хозяин, загорожник и т. д., обрабатывающий известное количество земли и отбывающий за то барщину, упла-

чивающий оброк, подати и дани или исполняющий иные повинности, становится собственником всей земли и освобождается от всяких повинностей, с этим связанных» [13, т. 2, с. 692]. П. Сцегенный проповедовал крестьянам, «что они будут совершенно счастливы, ибо земля и строения, которые имеют, будут их собственностью; что отобрать у них это никто не будет иметь права; что за эту землю не будут работать никакой барщины и не будут платить ни чиншей ни десятины» (цит. по: [16, с. 305—306]).

Все эти внешне похожие высказывания обнаруживали значительные различия при детальном рассмотрении. Утверждение, что крестьяне будут владеть землей, которую в данный момент обрабатывают, могло привести к положению, когда в их распоряжении оказались бы весьма неравноценные наделы. Это отмечали в свое время некоторые представители ПДО, желавшие усовершенствовать манифест общества. «Земля,— писали они,— должна быть поделена одинаково и навеки между польским народом и всеми, издавна живущими в Польше» [13, т. 2, с. 485]. Разумеется, это был уравнилельный проект, однако он имел то преимущество (например, перед идеями Г. Каменьского), что затрагивал такую важную сторону решения аграрного вопроса, как наделение земель безземельных крестьян. На необходимость подобной меры указывали Э. Дембовский и П. Сцегенный. Первый в воззвании «Ко всем полякам, умеющим читать» объявлял, что «те, кто не имеет земли — батраки, коморники, особенно же сражающиеся в войсках республики, получают землю из национальных имуществ по окончании борьбы за независимость» [13, т. 3, с. 303]. Сцегенный выразил эту же мысль в более общей форме: «Каждый хозяин, имеющий жену и детей, должен иметь свой участок земли» (цит. по: [16, с. 233]).

Ликвидация феодального гнета путем наделения крестьян землей и уравнивания всех сословий в правах вела к образованию нового общества. Его характер во многом зависел от формы собственности на землю. Те, кто ратовал за передачу земли крестьянам в собственность, высказывались за общество буржуазное. Наиболее ясно это выразил Г. Каменьский: «Индивидуальная собственность как результат распределения общего богатства существовала и должна всегда существовать в каждом обществе» [13, т. 2, с. 662]. Если учесть его выступление против крупной земельной собственности и вообще крупного хозяйства, то можно сделать вывод, что идеалом Каменьского был буржуазный строй, основанный на личном труде отдельных собственников.

На диаметрально противоположных позициях стоял Э. Дембовский. Видя в политическом гнете монархии следствие существования частной собственности, он решительно высказывался за уничтожение этого института. Главным звеном будущего социального устройства Дембовский считал общину («ассоциацию») — усовершенствованный фаланстер Фурье, в котором нет места частной собственности. В будущем обществе, по его мнению, «весь народ будет владеть собственностью, но никто из отдельных людей не будет ее иметь (...) всякое имущество какого-то бы ни было рода становится собственностью всего народа, или абсолютно общей собственностью» [13, т. 3, с. 147, 150, 152]. Таким образом, рельефно просматривается социалистическая направленность программы Дембовского.

Как бы промежуточную позицию между изложенными точками зрения занимал П. Сцегенный. С одной стороны, он склонялся к мнению Э. Дембовского об общественной собственности на землю. «Земля не может быть собственностью отдельной личности,— утверждал он,— но только собственностью народа; поэтому земля не может продаваться». Однако, согласно Сцегенному, земля должна раздаваться каждому земледельцу в пользование в том количестве, какое необходимо для удовлетворения нужд его собственной семьи, и поэтому каждый должен работать только на самого себя [16, с. 257, 233].

Обосновывая программу наделения крестьян землей, польские кон-

спираторы намечали и пути ее осуществления. Практически все они являлись сторонниками революционных методов, понимая, что в условиях национального гнета и сильного сопротивления подавляющего большинства имущей шляхты уничтожение феодальных отношений мирным путем невозможно. Член кружка Г. Гзовского В. Давид в своих свидетельских показаниях приводит такие слова А. Карпиньского: «Революция у нас не совершится до тех пор, пока крестьяне не примут в ней участия». Л. Липский также указывал на необходимость заинтересовать революцией крестьян, объяснить им цель войны — их собственное освобождение [15, с. 297, 408]. Известные колебания в этом вопросе проявил Г. Каменьский, утверждавший, что «тот помещик, который первый начнет проводить в жизнь этот закон (т. е. по собственной воле сам освободит крестьян.— А. Т.) и тем самым окажет столь прекрасную услугу отечеству, может не опасаться простого народа, коль скоро он своими действиями докажет, что принимает этот демократический закон и повинуетя ему, коль скоро он сам станет апостолом свободы и независимости» [13, т. 2, с. 693]. Но и он признавал неизбежность террора в отношении тех землевладельцев, которые будут саботировать повстанческое законодательство.

Теоретические установки петрашевцев, «братчиков» и польских конспираторов по крестьянскому вопросу проверялись реальной практикой народного движения. Большой интерес с этой точки зрения представляет отношение участников исследуемых кружков (организаций) к антифеодальным выступлениям крестьянских масс в Галиции и Краковскому восстанию 1846 г.

М. В. Петрашевский в письме П. А. Кузьмину писал по поводу галицийских событий: «Важнее всего мне кажутся известия, мне принесенные, что будто в смежных с Галицией губерниях крестьяне весьма расположены вырезать помещиков; и что эти известия имели свое влияние на возобновление внимания общего мнения об эмансипации крестьян. Мне кажется, этот вопрос не может быть разрешен без предварительного преобразования и улучшения судоустройства и судопроизводства» [4, т. 2, с. 258]. Это высказывание подтверждает устойчивость мнения Петрашевского о возможности мирного разрешения крестьянской проблемы: он лишь приветствовал влияние галицийских событий на настроения общественности.

Кирилло-мефодиевцы относились к этим событиям по-разному. «Об австрийцах, — свидетельствовал А. Д. Тулуб, — особенно говорили по отношению к последнему их поступку в Галиции; причем с негодованием отзывались о варварской политике Меттерниха. О крестьянах говорили, что благо бы было бы, если бы государь, если нельзя освободить их вдруг, необразовавши вперед, то по крайней мере позволил им самим образовываться и выкупаться из подданства» [9, ч. 14, л. 3]. «Братчики» сочувствовали галицийским крестьянам, но в большинстве своем не хотели повторения этих событий на Левобережной Украине.

Лишь представители революционного крыла Кирилло-Мефодиевского братства приветствовали выступления народных масс. Не исключено, что известия о них содействовали появлению воззваний: «Братьям украинцам» и «Братьям великороссиянам и полякам». Глубокий интерес проявлял к галицийским событиям Т. Г. Шевченко, путешествовавший в то время вблизи австрийской границы и намеревавшийся перейти ее [17]. В басне «Сычи» поэт так излагает свое отношение к галицийским событиям 1846 г.: «Польская шляхта (сычи) слетается ночью, чтобы рассудить, как им отстоять бедных пташек (народ) и как предать огню гнездо орла (австрийского монарха). Но мужик..., узнав об этом и решив „пресечь потравы вред“, силками выловил всех сычей и уничтожил либо предал „воронам“, т. е. австрийской полиции» (см. [18]). Шевченко рисует реальные события; галицийские крестьяне либо выдавали польских конспираторов полиции, либо избивали и прогоняли их. На наш взгляд, в данном случае поэт осуждает шляхту за непонимание нужд простого народа.

Результаты восстания 1846 г. имели исключительно важное значение как для идеологии, так и для практики польской национально-освободи-



тельной борьбы. Ход восстания выявил явно антишляхетскую направленность крестьянского движения, когда в некоторых районах Галиции дело дошло до физического истребления шляхты, в том числе передовых представителей этого сословия, боровшихся против феодального строя. «Галицийская резня» в значительной степени способствовала поляризации взглядов как участников эмигрантских группировок, так и конспираторов, действовавших на землях разделенной Польши.

Для представителей наиболее прогрессивной части движения была характерна дальнейшая радикализация воззрений на движущие силы освободительной борьбы. Многие из них (например, И. Лелевель), отмечая силу крестьянского выступления, увидели также его антифеодалную направленность. Они выражали сомнения в заинтересованности имущей шляхты в социальных преобразованиях. Поэтому концепция будущего восстания в трактовке этой части конспираторов включала призыв к крестьянской революции, которая должна уничтожить сословное неравенство и наделить крестьян землей. С другой стороны, часть шляхетских революционеров отреагировала на драматические события 1846 г. полным отказом от повстанческого пути.

Для руководителей ПДО, являвшегося организатором Краковского восстания, характерно усиление внимания к пропагандистской деятельности, нацеленной на крестьянские массы. Учитывая темноту и забитость этого сословия, они решили активизировать прямую агитацию в деревне, не привлекая к этому во избежание возможных эксцессов помещиков. В. Гельтман и Л. Зенкович написали «Слово Божие для польского народа», в котором в доступной для крестьян форме излагали социальную программу ПДО и призывали их к сотрудничеству с организаторами будущего восстания.

Перемены, произошедшие в мировоззрении участников польского национально-освободительного движения, определили программные установки Организации 1848 г. [19]. В отличие от более ранних кружков (организаций), социальные проблемы играли здесь второстепенную роль и их решение являлось вспомогательным средством в борьбе за национальную независимость. В пропагандистской работе, которая велась членами Организации 1848 г. среди как простого народа, так и шляхты главное внимание уделялось очиншеванию крестьян во имя достижения национальной солидарности классов. В последней виделось одно из основных условий успеха национально-освободительной борьбы.

Содержание социальной программы Организации 1848 г. и способ ее реализации наиболее полно отразил в разговоре с Л. Жечневским Р. Свежбиньский. «К расширению пропаганды,— говорил он,— надо стремиться в таком духе: не восстанавливать класс против класса, а объединять крестьян с панями. Этих последних уговаривать к очиншеванию крестьян, что должно быть первой ступенью к наделению их землей, однако с определенным, в зависимости от воли народа, вознаграждением шляхты». Подобные идеи отстаивал также первый руководитель этой организации Э. Домашевский. Согласно показаниям Г. Краевского, Домашевский считал «самой главной практической потребностью... введение демократических принципов в повседневную жизнь каждого человека, т. е. стремление к очиншеванию крестьян и достижение согласия между панями и крестьянами». Эти положения программы предполагалось реализовать исключительно мирными средствами. Домашевский говорил Р. Свежбиньскому по этому поводу: «Если бы ты написал статью об очиншевании крестьян, о деревенских школах и т. п. и издал в польских журналах или за границей, то это было бы значительным моральным воздействием» [20].

Материалы, отразившие идеологию Организации 1848 г., свидетельствуют о том, что ее члены признавали необходимость решения крестьянского вопроса и его неразрывную связь с национальной проблемой. Тем не менее эти два вопроса решались отдельно друг от друга и разными средствами: социальный — путем пропаганды и агитации, национальный — путем восстания. Таким образом, предполагалось, что будущее

восстание будет иметь исключительно национально-освободительный характер и его программа не должна содержать каких-либо социальных преобразований. Сказанное находит подтверждение в «Рапорте Следственной комиссии» И. Ф. Паскевичу по делу об Организации 1848 г., в котором отмечается, что ее члены хотели «мирить все сословия людей, склонять помещиков к предоставлению крестьянам разных льгот, к ласковому с ними обращению и этими средствами водворять между ними взаимную братскую любовь и приготовить умы к бунту» [21].

Сопоставление и анализ программных установок и высказываний петрашевцев, «братчиков» и польских конспираторов показывает, что общей для всех участников освободительных движений была идея освобождения крестьян с землей. Наблюдавшиеся внутри кружков (организаций) противоречия и колебания в отношении условий и методов освобождения крестьян отражали сложность процесса становления революционно-демократической идеологии на дворянском (шляхетском) этапе освободительных движений в России, на Украине и в Королевстве Польском. В новую фазу разработку крестьянского вопроса деятелями освободительных движений Польши, России и Украины вступает на рубеже 50—60-х годов XIX в. в связи с упрочением революционно-демократического направления.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Герцен А. И. Собр. соч. Т. 14. М., 1958, с. 78.
2. Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. Т. 2. СПб., 1888; Федосов И. А. Революционное движение в России во второй четверти XIX в. (революционные организации и кружки). М., 1958; *Śliwowska W. Sprawa pietraszewców*. Warszawa, 1964; *Gołbek J. Bractwo św. Cyryla i Metodego w Kijowie*. Warszawa, 1935; *Djakow W. Piotr Sciegienny i jego spuścizna*. Warszawa, 1972; *Berghauzen J. Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim, 1833—1850*. Warszawa, 1974.
3. Дьяков В. А. Идея межнационального сотрудничества в программах польских, русских и украинских революционеров 1840-х годов. — Советское славяноведение, 1971, № 5; Дьяков В. А. Освободительное движение в России 1825—1861 гг. М., 1979; Фалькович С. М. Развитие польского освободительного движения и передовой общественной мысли в контексте взаимосвязей общественных сил России и Польши (конец XVIII — 70-е годы XIX в.). — В кн.: Польша на путях развития и утверждения капитализма. Конец XVIII — 60-е годы в XIX в. М., 1984.
4. Дело петрашевцев. Т. 1—3. М.; Л., 1937—1951.
5. Лейкина-Сеирская В. Р. Петрашевцы. М., 1965.
6. Петрашевцы. Т. 1—3. М.; Л., 1926—1928.
7. Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953, с. 363, 364.
8. *Зайончковский П. А. Кирилло-Мефодиевское общество (1846—1847)*. М., 1959.
9. ЦГАОР СССР, ф. 109, 1 эксп., 1847 г., ед. хр. 81.
10. Шевченко Т. Г. Собр. соч. Т. 1. М., 1964, с. 371.
11. *Serżenکو G. Я. Т. Г. Шевченко i Кирило-Мефодіївське товариство*. Київ, 1983, с. 58, 78.
12. Кулиш П. Воспоминания о Н. И. Костомарове. — Новь, 1885, № 13, с. 67.
13. Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. Т. 1—3. М., 1956.
14. Фалькович С. М. Идеино-политическая борьба в польском освободительном движении 50—60-х годов XIX века. М., 1966.
15. Революционное подполье в Королевстве Польском в 1840—1845 гг. Эдвард Дембовский. Вроцлав, 1981.
16. Дьяков В. А. Революционная деятельность и мировоззрение Петра Сцегенного (1801—1890). М., 1972.
17. Бортников А. И. Кирилло-Мефодиевское общество и польское национальное освободительное движение. — В кн.: Развитие капитализма и национальные движения в славянских странах. М., 1970, с. 190.
18. Дьяков В. А. Тарас Шевченко и его польские друзья. М., 1964, с. 49.
19. *Mińkowska A. Organizacja spiskowa 1848 roku w Królestwie Polskim*. Warszawa, 1923; *Djakow W. Warszawska organizacja konspiracyjna 1848 roku* (Edward Domaszewski, Henryk Krajewski, Romuald Świerzbinski i inni). — *Kwartalnik Historyczny*, 1976, z. 2; *Макарова Г. В.* К вопросу о времени создания Организации 1848 года в Королевстве Польском. — В кн.: Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986.
20. ЦГВИА СССР, ф. 1873, оп. 1, ед. хр. 44, ч. 1, л. 13, 48, 216.
21. ЦГАОР СССР, ф. 109, 1 эксп., 1850 г., ед. хр. 62, л. 35—36.



МИХУТИНА И. В.

## ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АГРАРНЫХ РЕФОРМ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Одной из самых заметных черт социально-экономического облика России и стран Центральной и Юго-Восточной Европы (ЦЮВЕ) до первой мировой войны был их преимущественно аграрно-промышленный или аграрный характер с экстенсивным, намного ниже уровня ведущих капиталистических стран типом сельскохозяйственного производства и преобладанием в общественной структуре крестьянства, которое в большей своей части не прошло еще капиталистической эволюции. Аграрный строй сделался символом экономического отставания этой части континента, источником особой политической напряженности, питаемой переплетением многослойных социальных противоречий.

Разложение крестьянства как феодального класса не получило в этой части Европы завершения в образовании сколько-нибудь значительного слоя рентабельных крестьянских хозяйств капиталистического типа. Наоборот, рост населения, остававшегося из-за неразвитости городской жизни главным образом в деревне, вел к дальнейшему измельчанию крестьянских наделов, которые при малой производительности труда не могли обеспечить высокой товарности хозяйств, и вызывал обнищание владельцев земли, за неимением других занятий лишенных возможности полного отделения от нее. В результате на рубеже XIX и XX вв. в Венгрии на площади 1,2 млн га размещалось 1,3 млн карликовых хозяйств, из которых 600 тыс. имели участки до 0,25 га, в Галиции площадь 79,8% хозяйств не превышала 1,8 га, в Королевстве Польском, хотя и имелся слой среднего крестьянства, все же 59,9% составляли владельцы наделов до 5 га, в Румынии 95,4% хозяйств представляли мелкую и мельчайшую собственность размером в среднем не выше 2,85 га [1, с. 22, 165; 2, с. 94; 3, с. 35, 65]. Во многих землях и после ликвидации крепостничества значительная часть сельскохозяйственных площадей — около или свыше одной трети — оставалась в руках прежних феодальных владельцев<sup>1</sup>, что существенно тормозило капиталистическую эволюцию крестьянства.

---

Михутина Ирина Васильевна — канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

<sup>1</sup> В Венгрии по переписи 1895 г. 32,29% земельных угодий принадлежало 4 тыс. имений и 324 латифундиям, каждая в среднем по 5755 га. В Хорватии, где некоторые латифундии простирались на пространстве до 40 тыс. га, крупным собственникам принадлежало на 1899 г. 27,6% сельскохозяйственных площадей [1, с. 165, 101—102]. В чешских землях, по данным на 1896 г., крупные владения занимали: 28,3% угодий в Чехии, 25,6 — в Моравии, 30,8% — в Силезии, причем латифундии достигали 10 тыс. га и более [4]. В Румынии в первые десятилетия XX в. крупные собственники располагали 48,69% обрабатываемой земли [2, с. 94, 153].

Подобным же было положение крестьянских хозяйств и там, где после освобождения от турецкого владычества не осталось крупной помещичьей собственности. В Болгарии хозяйства со средним наделом в 7,3 га составляли в 1908 г. 81,1%, из них 32% не обеспечивали владельцам потребительского минимума. В Сербии более 70% крестьян имели наделы до 5 га. В Боснии и Герцеговине свыше 30% кметских дворов владели участками менее 5 га, 53% — менее 8 га [1, с. 97, 100; 5; 6, с. 283].

Только в немногих местах — в промышленно развитой Чехии, на Познанщине и в Поморье, откуда сельскохозяйственная продукция поглощалась рынком набравшей индустриальную мощь Германии, в некоторых областях Венгрии и Хорватии — наблюдались концентрация крестьянской собственности и образование фермерских хозяйств с достаточно высокой сельскохозяйственной культурой. Здесь обезземеливание части крестьян, находивших занятия в качестве сельскохозяйственных рабочих или в городе, имело характер далеко зашедшей капиталистической дифференциации.

Подобной размещению фермерских хозяйств была и география крупных поместий, сумевших превратиться в передовые для своего времени капиталистические хозяйства. По последнему слову агротехники были организованы некоторые крупные поместья Хорватии, специализировавшиеся на технических культурах и выведении племенного скота, и Воеводины с ее высокой зерновой культурой. Рентабельностью отличались юнкерские имения во входившей до 1918 г. в состав германской империи Западной Польше. Накануне первой мировой войны интенсификация наблюдалась и в некоторых хозяйствах на польских землях в составе России, в том числе в части помещичьих. «Но наряду с имениями высокой культуры, — констатировал специалист по аграрной проблематике В. Грабский, — много было совершенно заброшенных, в которых хозяйство велось хуже, чем у крестьян» [7].

Запущенность и отсталость характеризовали помещичью собственность в Румынии и Галиции. Ее владельцы, как правило, не занимались делами и избегали вкладывать капиталы в развитие хозяйства. Доходы их обеспечивались размерами имений и дешевизной рабочих рук, ибо огромные массы крестьян, не выработывавшие на своих мизерных наделах потребительского минимума, брались за работу на любых условиях. Помещики дробили свои угодья, сдавая в аренду безземельным и малоземельным на началах докапиталистической эксплуатации: за долю урожая, нередко половинную, за отработки на господском поле, иногда и крестьянским инвентарем и т. п. В Румынии, например, в аренду такого рода сдавалось до половины помещичьих владений, а на оставшихся неарендованными площадях почти не использовался, как это делалось в хозяйствах капиталистического типа, труд сельскохозяйственных рабочих. Подобные отношения господствовали в Далмации, Боснии и Герцеговине, где крупные собственники по средневековой традиции всю землю отдавали для обработки кметам и колонам. Феодальная зависимость этих категорий крестьян оставалась законодательно закрепленной вплоть до образования Югославского государства [8].

В отличие от крестьянства, страдавшего от малоземелья, крупные собственники, в принципе, обладали средствами для приобретения передовой техники, удобрений, племенного скота, проведения мелиорации и применения прогрессивных севооборотов. Но трудности экспорта и малый спрос на сельскохозяйственную продукцию в индустриально отсталых землях не стимулировали совершенствование производства. Помещики зачастую, как и прежде, оставались только получателями земельной ренты [9, с. 95].

Состояние крупного землевладения в ЦЮВЕ свидетельствовало, что избыток сельскохозяйственной площади сам по себе не гарантировал экономического прогресса, что главные условия и стимулы модернизации аграрного производства как в помещичьих, так и в крестьянских хозяйствах лежали за пределами аграрного сектора и упирались, если не счи-

тать также затрудненный в большинстве случаев выход на внешний рынок, в низкий уровень индустриализации, ибо именно промышленное развитие и урбанизация, расширив внутренний рынок, способны были принести аграрным производителям необходимые инвестиционные средства и технику, а также обеспечить отток из деревни высвобождавшихся рабочих рук.

Таким образом, со времени отделения крестьянской земли от помещичьей и ликвидации правовых пут феодализма в ЦЮВЕ, как и в России, за малыми исключениями не был завершен ни «прусский» на базе помещичьих хозяйств путь развития капитализма, ни так называемый американский вариант преобразования потребительских, какими они вышли из феодализма, крестьянских хозяйства в капиталистические фермы.

Наличие в социальной структуре огромного, составлявшего большинство населения слоя крестьян, застрявшего на начальной стадии буржуазной эволюции, стало в данной части Европы питательной почвой особого идейно-политического направления, стремившегося выразить интересы этого слоя в его реальном положении. В России оно дало жизнь народническому движению, в своей концепции будущего представлявшему одну из разновидностей утопического социализма. В других странах оно служило основой идеологии крестьянских партий, олицетворявших политическое самоопределение крестьянства и боровшихся за интегрирование его в современную экономическую и политическую систему на условиях, адекватных его пропорции в общей численности населения.

В отличие от народников и родственных им течений, полагавших, что осуществление «уравнительности» в землевладении и «трудового начала» само по себе тождественно социализму, В. И. Ленин рассматривал эти категории в рамках буржуазного строя, подчеркивая их реальное и прогрессивное содержание только на определенном этапе. Он считал обязательной и неотвратимой трансформацию крестьянской собственности в крупные капиталистические хозяйства (см. [10, т. 16, с. 212, 213]).

Время, однако, показало, что страны запоздалого развития так и не смогли до конца проделать эту эволюцию<sup>2</sup>. Вялость экономических процессов даже при наибольшей их интенсивности на рубеже XIX—XX вв. тормозила в этих странах модернизацию огромного числа архаичных мелких крестьянских хозяйств, по-прежнему составлявших основу аграрного строя. В этих условиях потребность аграрного переворота, не имевшая необходимой материальной базы для того, чтобы реализоваться в широком применении машин и новой технологии, вылилась в интенсивную научную разработку аграрной проблематики, дав, в частности, новое, так называемое организационно-производственное направление русской экономической мысли (А. Н. Челинцев, Н. П. Макаров, А. В. Чаянов и др.), которое перспективу цивилизационного прогресса видело не столько в политических мерах по перераспределению земельной собственности, сколько в преобразовании существующих крестьянских хозяйств путем рациональной организации и интенсификации производства на основе экономического расчета, передовой техники и технологии.

В центре внимания А. В. Чаянова был распространенный в регионе тип хозяйства, располагавшего землей и некоторыми средствами производства, слабо связанного с рынком и обходившегося без наемного труда. Последнее являлось основой сделанного им еще до революции вывода о

<sup>2</sup> Более того, и в развитых системах, где имущественная дифференциация действительно привела в свое время к образованию крупных капиталистических экономий, они не навсегда сохранили преимущества перед семейными формами хозяйствования. По мере поглощения индустрией все новых людских ресурсов и вздорожания в связи с этим рабочей силы основанные на наемном труде крупные экономии перестали быть рентабельными, расчленились и по частям сдавались в аренду, уступая место технически и агрономически оснащенным семейным фермам. Последние стали, в конце концов, и остаются по сей день ведущей производственной единицей в сельском хозяйстве Западной Европы [9, с. 100] даже в тех случаях, когда (как например, после второй мировой войны в ФРГ) новая концентрация земельной собственности шла за счет механизации полевых работ параллельно с сокращением наемной рабочей силы и уменьшением более чем вдвое аграрного населения [11].

некапиталистическом характере трудовых семейных хозяйств и вытекавшей из этого возможности осуществления социальной справедливости на путях их кооперирования — без политического переворота<sup>3</sup>. Ортодоксальными вульгаризаторами марксизма эти взгляды были квалифицированы как «антимарксистские неонароднические», что привело к трагической гибели большинства представителей организационно-производственной школы.

Но А. В. Чаянов, как и его коллеги, не был политиком. Он был ученым — экономистом-аграрником и практиком — агрономом, кооператором. Его вклад в экономическую и сельскохозяйственную науку — теория трудового крестьянского хозяйства и принципы кооперирования — получил всемирное признание [13, с. 146—167]. Есть все основания считать, что работы Чаянова оказали влияние на появление у Ленина в последние годы жизни так называемого кооперативного плана<sup>4</sup> и в целом на эволюцию его мысли о сущности социалистического строительства от высказанного в 1917 г. положения о том, что «социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа» [10, т. 34, с. 192], к загадочному, как отмечают исследователи [15], высказыванию 1923 г. «о коренной перемене всей точки зрения нашей на социализм», выраженной затем в формуле — «социализм как строй цивилизованных кооператоров» [10, т. 45, с. 373, 376].

Однако в дальнейшем по известным причинам применение концепций организационно-производственной школы в хозяйственно-экономической практике СССР было пресечено. Во всем мире ее идеи получили известность только в 60-е годы в основном в связи с проблемами развивающихся стран, выявившими роль многочисленного в них крестьянства. Совершенно очевидно, что не менее актуальны эти идеи могли быть и в странах ЦЮВЕ, имевших родственную с Россией социально-экономическую структуру и сходное состояние аграрного сектора. И сами ученые-«организационники», отмечая эту однотипность, как бы распространяли свои теоретические построения и практические рекомендации на данный регион (см. [16]).

В странах ЦЮВЕ, как и в 10—20-е годы XX в. в России, развивалась крестьянская кооперация, а крестьянское движение получило организованность партийно-политического типа. Социально-экономическая мысль крестьянских партий, например, идея трудовой крестьянской собственности Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС) [17] обнаруживает сходство с социальными воззрениями русских «организационников», хотя складывались они в отрыве друг от друга — политические потрясения начала века не способствовали нормальному обмену научной информацией. Пока не удалось установить, чтобы работы Чаянова и его коллег были широко известны крестьянским идеологам и экономистам ЦЮВЕ<sup>5</sup>, построения которых, кстати, не отличались той профессиональной глубиной и оригинальностью, которой достигла русская школа. Параллельное же возникновение концепции развития на базе трудового крестьянского хозяйства дает основание видеть в ней не благую уто-

<sup>3</sup> Анализируя основы крестьянского хозяйства, Чаянов полагал, что оно не могло развиваться по обычным законам капиталистического предприятия, ибо трудовые усилия крестьянина на собственной земле без найма рабочей силы как бы «размывали» такие категории классической политэкономии, как заработная плата, прибавочная стоимость, рентные отношения. Крестьянин выступал не столько как предприниматель, сколько как рабочий на своеобразной сдельщине [12]. Чаянов подошел к крестьянскому хозяйству как к первичной ячейке общества и выявил точки соприкосновения индивидуального хозяйства с общественным, полагая, что можно без болезненной ломки исторически сложившейся аграрной структуры через кооперирование включить его в общественное производство.

<sup>4</sup> При подготовке статьи «О кооперации» Ленин использовал книгу Чаянова «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации» (М., 1919). Всего среди ленинских книг в Кремле — семь работ этого автора [13, с. 162; 14].

<sup>5</sup> Так, предварительные поисковые работы в Польше показали, что лишь в некоторых крупных библиотеках страны имеется малая часть ранних работ Чаянова. Не обнаружено следов научных связей с организационно-производственной школой и в архивном фонде польского Кооперативного научного института [18].

пию, а идею, рожденную реальными жизненными условиями региона и способную служить конкретному делу. С этой точки зрения особого исследовательского внимания заслуживают история крестьянской кооперации, до последнего времени лишь мельком и непременно в критическом ключе упоминавшейся в отечественной историографии, а также весь комплекс экономических идей крестьянского движения.

До окончания первой мировой войны отсутствие или неразвитость демократических институтов не позволяли крестьянским партиям должным образом влиять на государственную политику. Да и сами они были далеки от целостного понимания перспектив аграрной эволюции, взаимосвязи ее с индустриализацией и — через внешний рынок — с мировым хозяйством. Поэтому в идейных и политических построениях крестьянских партий мы не обнаруживаем сбалансированных программ преодоления экономического отставания. Не было подобных программ и у правительств, представлявших тогда авторитарную монархическую власть. Они принимали некоторые меры (частичное стимулирование хозяйства экономическими средствами или законодательное регулирование аграрных отношений, вроде столыпинской реформы аграрных законов в Румынии, принятых после крестьянского восстания 1907 г., венгерского закона 1911 г. об образовании Товарищества земельных кредитных учреждений), которые из-за своей половинчатости, ограниченного масштаба или незавершенности не произвели существенных сдвигов.

Только в ходе первой мировой войны сложилась ситуация, потребовавшая от имущих классов ЦЮВЕ более масштабного и оперативного подхода к аграрной проблематике. Но при этом на первый план выдвинулись ее политические и социальные аспекты. Истощение экономики, превращение полей в арену военных действий, материальные лишения в тылу и на фронтах довели до крайности крестьян, составлявших большинство населения и основной контингент армий. В этих условиях опыт России, давшей наглядный пример радикального разрешения назревших противоречий, в том числе и аграрного вопроса, нашел в соседних землях многочисленных сторонников. К концу войны крестьянские и солдатские массы во многих местах под лозунгом «земля тому, кто ее обрабатывает», приступили к удовлетворению своих требований. Скрывавшиеся в горах «зеленые» отряды из югославянских крестьян и солдат систематически нападали на крупные поместья в Словении и Хорватии. В ряде районов Словении, Воеводины, Хорватии и Славонии возникали советские крестьянские республики. Болгарию сотрясали солдатские выступления. В Бессарабии, отошедшей позже к Румынии, уже в 1917 г. революционные органы власти декретировали раздел помещичьей и церковной земли. Идея раздела помещичьих угодий волновала польских крестьян. Многочисленные стачки сельскохозяйственных рабочих грозили установлением их контроля над крупными хозяйствами.

Но если крестьяне из опыта русской революции черпали решимость и сознание необходимости массовых действий то имущие на том же примере убеждались в реальности угрозы перерастания стихийных народных выступлений в социальный переворот и ради спасения своей власти считали за лучшее пойти навстречу некоторым крестьянским требованиям.

В целом, революционный подъем в рассматриваемом регионе за немногими исключениями не перерос в социальную революцию. Но его непреходящим последствием был новый уровень политического сознания масс, в том числе крестьянства, осмысления принадлежавшего им места и права голоса в общественных и политических делах, обостренная потребность в социальной справедливости. Для крестьянства и вообще простого люда, проливавшего кровь на полях сражений, натерпевшегося голода и нужды военного времени, теперь казалось немыслимым оставаться в прежнем положении. В такой социально-психологической атмосфере преобразования в аграрном строе становились неизбежными вне зависимости от исхода послевоенного революционного кризиса. В большинстве случаев он завершился буржуазно-демократическим компромиссом, одним из центральных условий которого стала перспектива аграрных преобразований.

Введение парламентаризма демократического типа, расширение конституционализма монархических систем и демократизация избирального права в странах с крестьянским большинством населения открыли земледельцам доступ в законодательные органы и позволили отстаивать свои требования на государственном уровне. Уникальным примером в этом отношении явилось овладение политической гегемонией и образование однопартийного правительства крестьянской партии в Болгарии. Здесь не было крупной частной собственности феодального происхождения (правда, возникла проблема наделения землей десятков тысяч семей беженцев из утраченных в результате войны районов). Но известно также, какое сильное впечатление на лидера БЗНС А. Стамболийского произвели первые декреты советской власти; еще до образования однопартийного правительства он пристально изучал опыт социальных преобразований в России [19]<sup>6</sup>. Правительство БЗНС провозгласило аграрную реформу как акт социальной справедливости, способный стать альтернативой революционному перевороту и одновременно началом реализации идеи преобразования существующего общественного строя на «трудовой» основе.

Но и в Венгрии, пережившей на коротком временном отрезке совершенно иное развитие и разрешение революционной ситуации — победу и поражение социалистической революции, не успевшей и не сумевшей внести заметные изменения в аграрный строй, — возобладавшая контрреволюция оказалась не в силах оставить в неприкосновенности прежние порядки. В новой исторической обстановке она не могла рассчитывать на стабилизацию власти в полном отрыве от «низов». Чтобы найти опору в крестьянстве, ей пришлось обратиться к определенной корректировке аграрных отношений.

В понимании крестьянства ЦЮВЕ принятые здесь аграрные законы служили как бы материализацией его социальных чаяний. Не случайно, по-видимому, центр тяжести большинства из них приходился на перераспределение земельной собственности. Не от того, что малые хозяйства в тех условиях непременно стали бы эффективнее крупных<sup>7</sup>, но прежде всего потому, что при разительных контрастах между крестьянским и помещичьим землевладением в разделе крупной собственности виделся путь ликвидации земельного голода, ослабления аграрного перенаселения [22], а главное — осуществления социальной справедливости. В этом заключался основной социально-политический эффект начатых после первой мировой войны аграрно-реформаторских мероприятий.

Вместе с тем межклассовый компромисс, на базе которого в большинстве стран на смену монархическому авторитаризму пришел конституционализм и парламентаризм буржуазно-демократического типа, оставил место и для противников аграрных преобразований чисто политическими методами в лице крупных землевладельцев, выступавших, как правило, в союзе с основными буржуазными кругами. При такой расстановке сил вскоре выяснилось, что социальной мотивировки, выражавшей пафос крестьянского движения, зачастую оказывалось недостаточно, чтобы утвердить и привести в действие механизм аграрных реформ. Аграрные законы сравнительно быстро были приняты и начали осуществляться прежде всего там, где наряду с давлением «снизу» правительства руководствовались еще и национально-политическими, военными или государственно-интеграционными целями.

Так, в Румынии правящие круги обратились к проблеме расширения крестьянского землевладения еще в ходе первой мировой войны, чтобы воодушевить свою крестьянскую по составу армию: после очередных военных неудач король в марте 1917 г. отправился на фронт и в речи перед

<sup>6</sup> Сама идея аграрной реформы возникла у левых деятелей БЗНС в результате общения с Г. Димитровым, с которым они за антивоенную деятельность в годы первой мировой войны оказались в одной тюремной камере [20, с. 6].

<sup>7</sup> Поскольку часть помещичьих имений уже была преобразована на буржуазный лад и превращена в передовые с точки зрения товарности и культуры производства хозяйства, противники реформ критиковали их как меры, противоречащие общегосударственным экономическим интересам [21], хотя в принятых законах, как правило, специально оговаривалась целесообразность сохранения подобных хозяйств.



войсками накануне ответственного сражения дал обещание расширить избирательное право и передать крестьянам государственные, удельные, церковные и 2 млн га частных земель. Парламент безотлагательно внес соответствующие изменения в статью конституции о гарантиях частной собственности, и в декабре 1918 г. был оглашен декрет о наделении безземельных и малоземельных крестьян за счет крупной собственности в так называемом Старом королевстве [23, с. 8—9]. Заставляла спешить с аграрным законодательством и открывавшаяся в результате распада Австро-Венгрии перспектива присоединения Трансильвании и Буковины, где румынское население, высказывавшееся за вхождение в состав Румынии, вместе с тем требовало проведения аграрной реформы, а также уже состоявшегося присоединение Бессарабии, в которой крестьяне фактически произвели раздел помещичьих земель. И если в Старом королевстве основным аргументом в пользу раздела крупных частных владений была хозяйственная отсталость последних, то в значительно более экономически развитой Трансильвании наступление на крупную и даже среднюю земельную собственность преследовало прежде всего политическую цель — ослабление экономической и политической роли ее владельцев, в основном не румын по национальности.

Подобным же образом великосербские политические круги, стремясь к объединению всех югославянских земель под своей гегемонией, еще во время войны обещали отмену кметчины и колоната в Далмации, Боснии и Герцеговине, раздел крупных поместий в Воеводине, Хорватии и Словении. Поэтому, когда в декабре 1918 г. провозглашение Королевства сербов, хорватов и словенцев под властью сербской династии натолкнулось на сопротивление хорватских национальных группировок, принц-регент поспешил с обращением к народу, декларируя как ключевую часть своей политики безотлагательное решение аграрного вопроса путем отмены реликтовых форм феодальной зависимости и раздела крупных земельных владений [24]. Очевидно, для того, чтобы усилить государственно-интегрирующее действие аграрных реформ, положения о них были включены в соответствующие конституционные законы Югославии и Румынии [25].

В апреле 1919 г. было положено начало аграрному законодательству в Чехословакии, где среди мотивов перераспределения земли преобладали национально-политические: ликвидация экономического могущества помещиков немецкой национальности в Чехии и венгерской — в Словакии и Закарпатской Украине, вместе составлявших 75% крупных землевладельцев [26].

Зато в Польше, где социальная потребность преобразований ощущалась исключительно остро, но помещики и крестьяне были на собственно польских землях этнически однородны, вопрос об аграрной реформе не синхронизировался с восстановлением государственности, а поставленный крестьянскими партиями уже в новых органах власти встретил яростное сопротивление буржуазно-помещичьих кругов и был практически заморожен на стадии утверждения (большинством в один голос) довольно умеренных «принципов». Только военный кризис 1920 г. заставил, чтобы привлечь крестьян в ряды защитников Варшавы, в срочном порядке, без обсуждения и на сей раз — единогласно принять Закон об исполнении аграрной реформы, более радикальный в социальном плане и в отношении компенсации частным владельцам, впрочем, когда военная опасность миновала, саботировавшийся помещиками на основании конституционных гарантий частной собственности. В этой ситуации особенно отчетливо выступало значение аграрных преобразований как основы и важнейшего элемента демократического процесса. Борьба за осуществление аграрной реформы стала полем конфронтации сторонников и противников демократии.

В литературе об аграрных реформах межвоенного периода в качестве одного из основных критериев довольно долго применялось сравнение их с Декретом советской власти о земле. Разумеется, такой подход рельефно выявлял различие между революционным радикализмом российского варианта и буржуазно-реформаторской постепенностью подхода к аграрной проблематике в странах ЦЮВЕ. Но при этом заранее упрощался анализ

содержания и результатов аграрных реформ межвоенного периода как преобразований, призванных в пределах буржуазного строя поднять сельское хозяйство на более высокую производственную и общественную ступень. Между тем существо аграрного вопроса в рассматриваемой части Европы с социально-экономической точки зрения по-прежнему заключалось тогда в отставании перехода сельского хозяйства на капиталистические рельсы. Крестьяне как мелкие производители продолжали страдать «не только от развития капиталистического производства, но и от недостатка его развития» [27]. Следовательно, в данных исторических условиях любые преобразования, направленные на ускорение капиталистической трансформации экономики, так или иначе способствовали бы ее поступательному движению.

Аграрные реформы проходили под знаком удовлетворения земельного голода крестьянских хозяйств за счет крупной собственности, т. е. в известном смысле представляли собой попытку заменить распространенный в этой части Европы «прусский» способ превращения помещичьих хозяйств в капиталистические на более демократичный крестьянско-буржуазный тип аграрной эволюции.

О социальных последствиях аграрных реформ межвоенного периода в странах ЦЮВЕ, по-видимому, следует судить по их влиянию на изменение структуры земельной собственности в пользу крестьянской, а об экономических результатах — по эффективности стимулирования модернизации сельского хозяйства, повышения уровня его товарности, интенсификации производства, технической и агрономической оснащенности, т. е. по степени воздействия на развитие производительных сил.

В фокусе законов об аграрной реформе находились мероприятия, способные произвести немедленный социальный эффект: изъятие или ограничение крупной земельной собственности, государственной и частной, с компенсацией владельцам последней, и распределение полученных угодий между безземельными и малоземельными претендентами. Масштабы, способы и глубина этих действий были в различных странах неодинаковы. Многие, разумеется, определялись энергией давления «снизу», соотношение классовых и политических сил. Совершенно очевидно, например, что крайняя ограниченность венгерского закона «О мерах по правильному распределению земельной собственности», предусматривавшего даже не частичное отчуждение крупной собственности, а только регулирующую функцию государства при стихийном, добровольном разделе поместий их владельцами, отражала стремление режима ослабить социальную напряженность без ущерба для хозяйственных интересов крупных владений [1, с. XXV—XXIX, 168—175].

В Польше по мере политического наступления буржуазных и помещичье-консервативных сил довольно радикальный аграрный закон 1920 г. модифицировался в сторону повышения неотчуждаемого максимума площадей частных владений, увеличения компенсации за изъятые земли и предоставления льгот исключительно польским колонистам, получавшим участки на западнобелорусских и западноукраинских землях с целью их колонизации [28].

Осуществление основного социального принципа аграрной реформы в Болгарии с самого начала встретилось с большими объективными трудностями: незначительное число крупных владений в частных руках — по официальным данным они занимали 2,8% всех обрабатываемых площадей [29, ед. хр. 1843, л. 7] — и в целом малые земельные резервы заранее ограничивали перспективу радикального изменения структуры аграрной собственности. Правительству БЗНС за три года осуществления им Закона о трудовой поземельной собственности при сравнительно низком — в 30 га — максимуме неотчуждаемой земли удалось к 1923 г. образовать весьма скромный фонд (81 652 га), составлявший около одной трети от первоначально рассчитанного [20, с. 8; 30]. Антидемократический режим, установленный после свержения правительства БЗНС, видоизменил идейно-социальную направленность реформы, исключив из ее мотивировки принцип трудовой поземельной собственности, резко ограничив возмож-

ность отчуждения частных владений и в то же время повысив неотчуждаемый максимум до 150 га, если это касалось хозяйств с высокой культурой земледелия. Был ограничен также круг имевших право на наделение. Но и при этом ко времени правительственного решения о свертывании реформы, как следует из составленного в 1928 г. отчета Главной дирекции трудовых земледельческих хозяйств, была удовлетворена только половина имевших право на наделение, причем наделы составляли в среднем 1,5 га, т. е. не обеспечивали потребительского минимума [29, ед. хр. 1843, л. 10—13].

Из-за отсутствия крупной собственности перераспределение сельскохозяйственных площадей почти не затронуло Сербию. В других областях Югославии крупное землевладение было ограничено максимумом от 50 до 300 га пахотной земли в зависимости от ее качества. За этот счет около 10% обрабатываемых площадей перешло к новым владельцам. В Боснии и Герцеговине собственниками ранее обрабатываемых участков с наделами до 7 га стали бывшие кметы и арендаторы. Безземельные и малоземельные получили по 2 га. О недостаточной величине наделов в Хорватии, Воеводине и Словении можно судить по тому, что в этих областях между 232 тыс. семей было разделено всего 315,3 тыс. га, т. е. на хозяйство в среднем приходилось менее 1,5 га [31; 32]. Согласно переписи 1931 г., в структуре крестьянской собственности 33% принадлежало карликовым владениям до 2 га, 34% — от 2 до 5 га, 32,2% — свыше 5 га [33], что свидетельствовало о преобладании, как и прежде, потребительских или низкотоварных хозяйств.

В советской литературе ранее в первую очередь анализировалось то, в каких масштабах в ЦЮВЕ было законодательно предусмотрено перераспределение земельной собственности. О глубине преобразований предлагалось судить преимущественно по степени ограничения помещичьих владений, размерам неотчуждаемого максимума и прочего без должного учета исходного состояния производительных сил и характера производства в каждой из стран, а также экономической и социальной эффективности проведенных мероприятий. Иными словами, в основном применялся тот же и поныне не изжитый метод рассмотрения «не способа производства, а только лишь производственных отношений», не затрагивавший, по существу, производительных сил [34]. Использование зауженных, односторонних критериев порой приводило к до курьезности необоснованным выводам, вроде утверждения о том, что сельское хозяйство межвоенной Болгарии только из-за отсутствия помещичьего землевладения следует считать самым капиталистически развитым в регионе [35, с. 177—206], невзирая на его примитивные экономические и технологические параметры, а аграрные законы в Чехословакии — поставить в разряд самых консервативных на том основании, что по ним были отчуждены не у всех прежних владельцев крупные хозяйства и разделу подлежала меньшая, чем в некоторых других странах, часть сельскохозяйственной земли [23, с. 66, 68; 36]. Однако последнее определялось не только волей законодателей. Наибольшее количество земли — свыше 30% обрабатываемых площадей — подверглось перераспределению в Румынии, что вряд ли можно приписать особому радикализму румынского короля или парламента.

Здесь вступала в действие разница стартовых позиций. В Румынии большинство помещичьих владений делилось на две части. Одна дробилась на мелкие арендные участки; на другой, остававшейся за владельцем, обычно велось примитивное хозяйство, приносящее доход только за счет дешевизны труда сельскохозяйственных рабочих. Такая система тормозила развитие производительных сил. Отказ от нее являлся насущной экономической необходимостью, чем, по-видимому, и следует объяснять масштабы и темпы перераспределения в начальный период аграрной реформы [37].

Иным было исходное положение на чешских землях, где высокорентабельный капиталистический характер носили уже многие крупные хозяйства (за исключением аристократических латифундий), а капиталисти-

ческое расслоение крестьянства находило разрешение в использовании высвобождавшихся рабочих рук в различных отраслях хорошо развитой промышленности. Перераспределение земли, во многом продиктованное здесь национально-политическими мотивами, на первых порах имело более ограниченные, чем в других странах и в экономически отсталых Словакии и Закарпатской Украине, социально-экономические цели: предоставить своего рода компенсацию наиболее пострадавшим от военной разрухи беднейшим слоям, удовлетворить таким путем физический голод, вызванный войной и ее последствиями, и тем самым разрядить социальную напряженность послевоенных лет. В конечном же счете реформа помогла чешскому сельскому хозяйству — единственному в регионе — проделать путь аграрной эволюции, типичный для развитых стран. Произведенный раздел части крупных земельных владений отнюдь не остановил имущественной дифференциации деревни. Статистические данные свидетельствуют, что реформа способствовала значительному росту и укреплению капиталистических хозяйств с владениями от 20 до 100 га, но не помешала разорению мелких собственников, количество которых за десятилетие после начала реформы сократилось на 44 945 [38]. Но экспроприация мелких аграрных производителей при наличии иных занятий для них — естественный процесс, благодаря которому во многих странах шло формирование соответствующей капиталистическому способу производства социальной структуры.

Однако в других странах региона, менее экономически развитых, чем Чехословакия, социально-экономический эффект реформ межвоенного периода в плане модернизации структуры и подъема производительных сил оказался краткосрочен и невелик.

Непосредственными результатами аграрных реформ на первых порах повсеместно стало расширение крестьянского землевладения и некоторое увеличение в разные годы второго десятилетия XX в. доли крестьянских хозяйств в общем объеме аграрной продукции. Но рост производства достигался не повышением урожайности, а в основном за счет обработки практически на том же примитивном уровне новых, введенных реформами в оборот площадей [35, с. 51—52].

В первые годы произошли также некоторые сдвиги в структуре крестьянской собственности в сторону укрепления категорий мелких и мельчайших хозяйств, а также увеличения количества средних, обещавшие смягчение противоречий, рожденных земельным голодом и аграрным перенаселением. Казалось, появилась тенденция, которая по мысли идеологов крестьянского движения должна была привести к «уравнительному» землевладению и «трудовому началу». Но ей не суждено было окрепнуть. Отсутствие у сельского населения, численность которого возрастала вследствие естественного прироста, иных, кроме земледельческих, занятий вскоре вновь вызвало деление между наследниками укрупненной реформами крестьянской собственности. Это не только перечеркнуло временный «уравнительный» эффект реформ, но, как представляется, дало особый по сравнению с развитыми странами тип имущественной дифференциации крестьянства: дробление, измельчение и обеднение хозяйств нередко преобладали над процессом концентрации крестьянской собственности и образованием производственных единиц капиталистического типа. В Польше с 1921 по 1938 г. возникло свыше 1 млн новых крестьянских хозяйств, что составляло 30% от общего числа. При этом наибольший прирост (72%) дали карликовые и мелкие (до 5 га) хозяйства и только немногим более 7% — собственно капиталистические, от 10 до 50 га [39, с. 95]. Подобные явления характеризовали положение и в других странах региона [29, ед. хр. 2389, л. 17; 40; 41; 42].

Признаком незавершенности и торможения капиталистической дифференциации сельского населения было также наличие значительного слоя безземельного крестьянства, не находившего применения в иных отраслях хозяйства. Причем предусмотренная реформами попытка исключить из социальной структуры эту категорию путем наделения участками не принесла заметных результатов и даже не остановила роста рядов обез-

земеленных. Так, в Румынии с 1925 по 1930 г. их количество возросло с 590 тыс. до 700 тыс. [43].

Выявляя причины малой эффективности рассматриваемых реформ, нельзя забывать, что разворачивались они в условиях послевоенной разрухи и хозяйственных перемен, вызванных новыми государственными границами, утратой многих старых и трудностями налаживания новых внешних рыночных связей. В дальнейшем были известны только отдельные, не совпадавшие в различных странах периоды благоприятной аграрной конъюнктуры. Именно в такие годы проявлялись положительные результаты начатых преобразований. Мировой же экономический кризис на рубеже 20-х и 30-х годов столь глубоко поразило сельское хозяйство стран ЦЮВЕ, что «на корню» загубил слабые ростки перемен, заложенных реформами.

Среди причин их малой эффективности не без оснований называют половинчатость по отношению к крупной собственности, классовый характер и бюрократический способ проведения. Другие причины определялись узостью теоретической концепции реформ, сконцентрированных вокруг идеи перераспределения земли — важного, но далеко не единственного условия прогресса крестьянских хозяйств, которым мешало организоваться на более высоком цивилизационном уровне не только малоземелье, но и низкая культура земледелия, примитивные орудия труда и отсутствие средств для их обновления. Эти проблемы, правда, затрагивались в законодательных документах, но не получили в них соответствующей своим значению и масштабам разработки и особенно — практического, прежде всего материального обеспечения. Наделение земель, как правило, не сопровождалось ни рациональным землеустройством, ни достаточным финансированием и другими мерами, необходимыми для становления новых хозяйств, владельцы которых зачастую не имели элементарного инвентаря и тягловой силы. Нередко наделение крестьян землей увеличивало чересполосицу их владений, а ликвидация ее, даже когда предписывалась законом, проводилась неудовлетворительно.

Не предусматривалось или было крайне недостаточным кредитование вновь образованных, а особенно — расширивших площадь хозяйств. Выкупные же платежи, если вначале под напором крестьянских требований и устанавливались умеренными, то в дальнейшем были повышены, приняв разорительные для новых владельцев размеры. Так, назначенная законом 1920 г. в Польше компенсация в половину рыночной стоимости земли опротестовывалась помещиками в судебном порядке и в конце концов ее сумма оказалась законодательно поднятой до уровня полной рыночной стоимости [3, с. 206—208]. В Болгарии после переворота 1923 г. были отменены установленные правительством БЗНС минимальные расценки на выкупаемую землю. По новому закону 1924 г. они утверждались на уровне выросших рыночных цен [6, с. 302].

Подобная система выкупа позволяла крупным собственникам за счет полученной компенсации усовершенствовать производство на оставшихся площадях. Это давало определенный экономический эффект, но в русле «прусского» варианта аграрной эволюции. Зато огромная масса крестьян из-за непомерных платежей за полученную землю увязла в долговой кабале и за неимением средств для рационализации двигалась по замкнутому кругу экстенсивного способа хозяйствования.

Отсутствие условий для технико-технологического прогресса крестьянских хозяйств при их преобладании в структуре аграрных производственных единиц определило и после реформ низкую продуктивность и экономическую отсталость аграрного сектора рассматриваемых стран (за исключением Чехословакии).

Но главное, почему аграрные реформы межвоенного периода не смогли оказать глубокого преобразующего воздействия на аграрное производство региона, заключалось в изолированности этих мероприятий, задуманных вне связи и даже без должного понимания необходимости такой связи (в частности, со стороны крестьянских партий) с программами преодоления общего экономического отставания этих стран, особенно в области

индустриализации [44]. Между тем именно неразвитость промышленного сектора и низкие даже по сравнению с довоенными темпы прироста промышленной продукции [45, р. 285] при ограниченности внешних рынков не только не создавали необходимых экономических стимулов и условий интенсификации сельскохозяйственного производства (не обеспечивали расширения спроса на сельскохозяйственные продукты и образования у крестьян инвестиционных накоплений, снабжения их техникой, искусственными удобрениями и т. д.), но консервировали диспропорции в социальной структуре, усугубляя аграрное перенаселение. Растущий излишек рабочей силы в сельском хозяйстве не находил оттока в промышленность и другие несельскохозяйственные отрасли. В Польше, например, аграрное перенаселение по самым скромным подсчетам возросло с 4,5 млн человек в 1921 г. до 5,5 млн в следующем десятилетии [39, с. 57]. Согласно некоторым обобщенным данным, безработные в межвоенное двадцатилетие составляли до 25% среди сельских жителей региона [45, р. 295—296].

Таким образом, аграрные реформы межвоенного периода в том виде, каком они были задуманы и осуществлены, внесли лишь частичные социально-экономические модификации, но не смогли вызвать радикальных качественных и структурных перемен в сельском хозяйстве региона. Однако сам факт принятия аграрных законов как следствие массового крестьянского движения в период революционного подъема имел большое политическое значение. В последующие годы требования углубления и радикализации аграрных преобразований стали важной составной частью идейно-политического комплекса сторонников демократии в рассматриваемых странах.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аграрная революция в Европе. М.; Л., 1926.
2. *Тимов С.* Аграрный вопрос в Румынии. М., 1928.
3. *Madajczyk С.* Burżuazyjno-obszarnicza reforma rolna w Polsce. 1918—1939. Warszawa, 1956.
4. *Medinger J.* Grossgrundgesetz, Fideikommission und Agrarreform 1919. Prag, 1922, S. 32—33.
5. *Горев М.* Аграрная реформа в Болгарии. — Аграрные проблемы, 1929, № 3, с. 106, 110.
6. *Долински Н. В.* Аграрна политика. Варна, 1933.
7. *Grabski W.* Cele i zadania polityki agrarnej w Polsce. Warszawa, 1919, s. 35.
8. *Мирковић М.* Экономска историја Југославије. Загреб, 1958.
9. *Гунст П.* Влияние индустриализации на сельское хозяйство Западной и Восточной Европы в XIX—XX веках. — Acta Historica Academiae scientiarum Hungariae. Budapest, 1980, № 1/2.
10. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч.
11. *Kondrasiuk S.* Zmiany strukturalne w rolnictwie RFN w latach 1949—1982. — Annales Universitatis im. Mariae Curiae-Skłodowska. Lublin, 1986, vol. XX, H, с. 116, 128.
12. *Чаянов А. В.* Организация крестьянского хозяйства. М., 1925, с. 10—11.
13. *Кабанов В. В.* Александр Васильевич Чаянов. — Вопросы истории, 1988, № 6.
14. *Балязин В.* Возвращение. — Октябрь, 1988, № 1, с. 157.
15. *Бордюгов Г., Козлов В.* Время трудных вопросов. — Правда, 1988, 30 IX.
16. *Чаянов А. В.* Хозяйствующий человек в немецком земледелии. М., 1912.
17. *Стамболйски А.* Принципите на Българския земеделски народен съюз. — Избр. произв. София, 1980, с. 232.
18. *Archiwum Akt Nowych.* Warszawa. Spółdzielczy Instytut Naukowy. Sygn. 220/III.
19. *Тишев Д.* Великата Октомврийска социалистическа революция и Българският земеделски народен съюз. София, 1967, с. 57.
20. *Даскалов Р.* Борба за земя. София, 1945.
21. *Studnicki W.* Przewroty i reformy agrarne. Warszawa, 1927.
22. *Inglot S.* Z dziejów wsi polskie i rolnictwa. Warszawa, 1986, s. 393—394.
23. *Тимов С.* Октябрьская революция и аграрные реформы в Европе. М.; Л., 1928.
24. *Erić M.* Agrarna reforma u Jugoslaviji. 1918—1941. Trebinje, 1958, s. 153.
25. Конституции буржуазных стран. Т. I. М., 1935, с. 334; Т. II. М., 1936, с. 42.
26. *Цамбел С.* Аграрный вопрос и земельная реформа в Чехословакии между двумя мировыми войнами. — In: Problems of continuity and discontinuity in history. Prague, 1980, p. 255.
27. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., 2-е изд., т. 23, с. 9.
28. *Chojnowski A.* Konserpcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921—1939. Ossolineum, 1979, s. 45—48.
29. Централен държавен исторически архив (София), ф. 194, оп. 1.

30. *Велев А.* Главни реформи на земеделско правителство. София, 1977, с. 79.
31. *Vučo N.* Poljoprivreda Jugoslavije (1918—1941). Beograd, 1958, s. 25—27.
32. *Stojkovic V. N.* The Economic Position and Future of the Agriculture of the Yugoslavia. Belgrade, 1932, p. 364—366.
33. *Mirković M.* Ekonomska struktura Jugoslavije. 1918—1941. Zagreb, 1950, s. 40.
34. *Дзокаева Т.* Последняя жертва. Заметки экономиста.— Правда, 1988, 6 V.
35. *Тимов С.* Экономика Восточной Европы. Т. 1. М., 1931.
36. *Недорезов А. И.* Земельная реформа в народно-демократической Чехословакии (1945—1948).— Вопросы истории, 1950, № 11.
37. *Scurtu J.* Viața politică din România. 1918—1944. București, 1982, p. 17.
38. Československá statistika. Sv. 92, rada XVI, seč. II, č. II. Praha, 1952, s. 14.
39. *Mieszczankowski M.* Rolnictwo II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1983.
40. *Лацко М.* Обострение внутренних противоречий социальной структуры в Венгрии (1919—1941).— В кн.: Социальная структура и политические движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Межвоенный период. М., 1986, с. 34.
41. *Петрова Д.* БЗНС през периода на икономическата криза 1929—1934. София, 1979, с. 11—12.
42. *Vučo N.* Agrarna kriza u Jugoslaviji. Beograd, 1968, s. 210.
43. *Ереценко М. Д.* Проблемы соотношения социально-экономического развития и политической стабильности в буржуазной Румынии.— В кн.: Социальная структура и политические движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Межвоенный период. М., 1986, с. 122.
44. *Szaflik J. R.* Polskie Stronictwo Ludowe Piast 1926—1931. Warszawa, 1970, s. 64.
45. *Berend I. T., Ranki G.* Economic Development in East-Central Europe in the 19-th and 20-th Centuries. New York; London, 1974.

## КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Балты, славяне, прибалтийские финны: Этногенетические процессы. Рига, 1990, 291 с., ил.
- Българи — борци за свободата на други народи: Библиография. София, 1990, 239 с.
- Буляка А. М., Журайски А. Г., Свяхынски У. М.* Мова виданняў Францыска Скарыны. Мінск, 1990, 253 с.
- Василенко В. М.* Постичний світ Болеслава Бесмяна. Київ, 1990, 131 с.
- Велев Р.* В сянката на пречупения кръст: Неонацисти и екстремисти. София, 1990, 203 с.
- Д-р Васил Хаджистоянов-Берон: Живот и научно творчество.* София, 1990, 196 с.
- Единство на българската фолклорна традиция. София, 1989, 506 с.
- Исусов М.* Последната година на Трайчо Костов. София, 1990, 152 с.
- Каталог књига на српскохватском језику од XVIII до XX века. Београд, 1989—1990.
- Кирило-Методијевски студии. Книга 7. София, 1990, 267 с.
- Лазиф К. Б.* Библиографи а Досите а Обрадовића: Књиге 1783—1988. Београд, 1990, XXXVI, 342 с., ил.
- Латиноязычные источники по истории Древней Руси: Германия, середина XII — середина XIII в. М.— Л., 1990, 398 с.
- Марин Дринов.: Материали от бълг.-съв. научн. конф. «150 години от рождението на М. Дринов» и «110 години нар. библ. Кирил и Методий», ноем., 1988 г. София, 1989, 239 с., 6 л. ил.
- Минчев Л.* Военнореволюционната дейност на Петър Дървингов (1898—1918). София, 1990, 199 с.
- Мицько Г. З.* Острогъка слов'яно-греко-латинсська академия (1576—1636). Київ, 1990, 190 с.
- Мошсеев Г. Н., Крбец М. М.* Йозеф Добровский и Россия: (Памятники рус. культуры XI—XVIII вв. в изуч. чеш. слависта). Л., 1990, 252 с., ил., 1 л. портр.
- Ненадовић П. М.* Мемоари: Рукопис. Фототипско изд. Београд, 1988, 198 с.
- Низгоритис К.* Атонската книжовна традиция в разпространението на кирило-методијевските извори. София, 1990, 276 с., ил.
- Отинка В. М.* Румыно-французские отношения во второй половине 70-х — 80-е годы. Кишинев, 1990, 121 с.
- Прадромовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны. Мінск, 1991, 309 с.
- Русия и българското национално-освободително движение, 1856—1876. Док. и материали. Т. 2. Ян. 1864 — май 1867. София, 1990, 508 с.
- Скарына і яго эпоха. Мінск, 1990, 481 с. портр., 23 л. л.
- Српске рукописне и штампане књиге у Славонији од XV до XVIII века: Каталог. град, 1990, XVI, 138 с.
- Стамболийски А.* Политически партии или съсловни организации? Фототипно изд. посветено на 90 години от основаването на БЗНС. София, 1990, 200 с.
- Стоянов В., Иванов К.* Финансите при новите икономически условия. Варна, 1990, 198 с.



БЛЮМЕНКРАНЦ М. А.

## ЛЕГЕНДА В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

На фоне взрыва исследовательского интереса к мифу и сказке, взрыва, который в середине XX в. произвел буквально революцию (достаточно привести лишь имена К. Леви-Стросса и В. Я. Проппа), легенда остается Золушкой, потерявшейся среди своих облаканных вниманием сестер.

Насколько нам известно, на сегодняшний день в отечественной науке нет сколько-либо серьезных работ, специально посвященных проблеме легенды как жанра. И дело здесь, как кажется, не столько в недостаточной популярности легенды, сравнительно с другими жанрами устного народного творчества, сколько в особой структурной подвижности, принципиальной неуловимости ее жанровых границ, не поддающихся привычным методам формализации.

Отражая переходный этап от мифопоэтического к историческому мышлению и занимая промежуточную ступень между сакральным временем мифа и историческим временем предания, легенда является как бы особой завязью, одновременно несущей в себе и символ Вечности, и знак времени.

Иначе говоря, легенда в чисто мировоззренческом аспекте играет «пороговую» роль при взаимодействии двух макроструктур: истории и метаистории. Поэтому в динамическом симбиозе легенда вбирает в себя как сакральное время-пространство мифа, так и профаническое время-пространство исторического предания. О таком симбиозе свидетельствуют, например, легенды, приводимые А. Н. Веселовским в его опытах по истории развития христианской легенды<sup>1</sup>.

В мифологическом типе сознания сакральное существует как нечто внешнее по отношению к «я», как извне, а не изнутри положенный принцип жизни и поведения, налагающий систему запретов и норм. Связь с сакральным миром переживается как выход с профанического на космический уровень, растворение в Целом, дающее экстатическое чувство Единства (календарные праздники, священные ритуалы, жертвоприношения).

Историческое сознание, видимо, зарождается с возникновением ранних древневосточных цивилизаций и тесно связано с появлением письменности.

Процесс сакрализации истории начат иудаизмом, провозгласившим священный завет между народом (а, значит, и его историей) и Богом. Но тотальная сакрализация истории была достигнута в христианстве актом сошествия Бога (сакральное время) в историю (профаническое время). Тем самым принцип трансцендентности, на котором строились взаимоот-

Блюменкранц Михаил Аронович — преподаватель истории религии Гуманитарного Центра (г. Харьков).

<sup>1</sup> В частности, о мифоисторических метаморфозах древа познания Добра и Зла, сначала используемого для постройки Храма царя Соломона в Иерусалиме, а позднее — для креста, на котором был распят Христос [1].



ношения двух структур, был дополнен имманентной связью. Профаническое время-пространство неожиданно оказалось пересечено временем-пространством сакральным. Это создало дополнительный источник духовного напряжения. Между метаисторией и историей возникло мощное духовное поле, давшее основные символы той культуры, в которой мы продолжаем существовать.

Монахи, отшельники, аскеты, святые и юродивые, живущие в «прорыве», как бы на пороге истории и метаистории и являющиеся традиционными персонажами христианской легенды (еще одно свидетельство ее «порогового» характера), в раннем Средневековье служат как бы энергетическими сгустками того сакрального напряжения, которое позволяет одухотворить даже прозаизм производственно-бытовых отношений в обществе, делая эти сферы пронизанными религиозным мироощущением. Недаром каждый ремесленный цех имел своего святого, день которого отмечался как праздник.

Однако постепенно в христианской культуре наметился сдвиг в сторону преобладания профанического значения над сакральным. Мы не будем здесь подробно анализировать причины этого явления, поскольку такой анализ не входит в задачу данной работы. Отметим только, что, по видимому, они связаны с нарастающим процессом рационализации мышления, наметившимся в Западной Европе уже в XII—XIII вв., одним из симптомов которого является возникновение схоластики и последующий поворот католической церкви к философии Аристотеля. В дальнейшем рационализм становится мощным механизмом переработки сакральных значений в профанические.

Происшедший раскол внутри структуры резко нарушил энергобаланс сакрального, разорвав существовавшее поле притяжения между историей и метаисторией. Тем самым была высвобождена гигантская духовная энергия, воплотившаяся в творческом взлете гениев Возрождения. Но за этот блистательный взрыв, рожденный мощью отталкивания и выведший культуру Средневековья на орбиту Нового времени, она заплатила отрывом от сакральных источников, в итоге обусловившим силовое поле бездуховности сегодняшней массовой культуры.

Ностальгия по утерянным источникам сакрального пробудила интерес к жанру легенды у духовно чутких писателей конца XIX — начала XX в. Так, в России к ней в своем творчестве обращаются Тургенев, Лесков, Толстой, Достоевский и др. Неслучайно духовный поиск, острое переживание общего культурно-исторического кризиса стимулируют интерес к легенде. Однако, если легенда зарождается в результате наметившегося перехода от мифопоэтического к историческому времени, то теперь обращение к ней, начиная с Ф. М. Достоевского и кончая М. А. Булгаковым, вызвано жаждой преодоления исторического и прорыва непосредственно в Вечность.

Таким образом, легенда, в соответствии со своей «пороговой» ролью, протейстична как по форме, так и по содержанию. Протеизм является ее бытийственной характеристикой. В результате маятниковых колебаний от сакрализации до секуляризации культур (движение, которое происходит на протяжении всей истории человечества), легенда или имеет тенденцию претвориться в миф, если уровень сакральности в обществе повышается, или же соскальзывает в сказку, предание, когда маятник переместился. Легенда — это завязь, плод же созревает во времени и временем предопределяется.

Лаконичное, но содержательно емкое определение сущности легенды принадлежит П. А. Флоренскому. Он говорит, о легенде, которая «не ошибается, как ошибаются историки, ибо легенда — это очищенная в горниле времени от всего случайного, просветленная художественно до идеи возведенная в тип сама действительность» [2]. Эта точка зрения П. А. Флоренского приобретает дополнительную глубину, если сопоставить ее с теми особенностями народной памяти, которые отмечал М. Элиаде: «... память народа с трудом удерживает отдельные, „индивидуальные“ события и „подлинные“ лица. Она функционирует посредством иных структур:

вместо событий — категории, вместо исторических лиц — архетипы... независимо от истоков фольклорных сюжетов и от более или менее крупного таланта творца эпической поэзии память об исторических событиях и о подлинных персонажах меняется по истечению двух-трех столетий так, чтобы их можно было подвести под шаблон архаического способа мышления, неспособного к восприятию индивидуального и удерживающего в памяти лишь образцовое. Это сведение событий к категориям, а личностей — к архетипам происходит в сознании европейских народных слоев вплоть до наших дней...» [3, с. 62].

Видимо, этот путь от частности к целостности, не изменяя, а только высветляя дух, находящийся в непрерывном становлении реальности, и именуется у П. А. Флоренского «очищением в горниле времени от всего случайного» [2].

Здесь мы вступаем в область тончайшей сопряженности истории и мифа, знания и тайны. В область, где смерть и новое рождение — суть одно, где все колеблется на грани возможного, между неотвратимостью и свободой, прежде чем проступят четкие контуры Истории и Судьбы.

Для нашего времени характерно настороженно-подозрительное отношение ко всякому мифотворчеству, грозящему приобрести тотальный характер. Это естественно коренится в том горьком историческом опыте, за который человечество дорого заплатило в XX в. В то же время, наша эпоха с особой силой переживает искус мифотворчеством и в этом кроется как ее величайший соблазн, так и надежда обрести опору.

На заре века Вяч. Иванов приветствовал возрождение мифа; в конце века многие здравомыслящие люди прилагают усилия, чтобы его окончательно похоронить. Вместо чаемого культурно-созидательного начала миф обернулся в нашем мире своей второй, разрушительной стороной. И без понимания этой теневой стороны мифа нам невозможно решить многие актуальные на сегодняшний день проблемы, так же, как и невозможно ответить на круг вопросов, затрагиваемых данной работой.

Некоторые исследователи, в их числе и уже цитированный М. Элиаде, абсолютизируют разрыв между историей и мифом, противопоставляя их друг другу. Думаем, что этот конфликт не является абсолютным, а выявляется в ходе исторического развития и особенно характерен для кризисного мироощущения Нового времени. Мы попытаемся показать, что это скорее симптом определенного переходного состояния, сопутствующий стадии нарастания дестабилизации культуры, чем известный антагонизм двух, на самом деле, взаимосвязанных начал. Поразительное единство мифологического и исторического времени в сознании людей средневековой культуры в этом смысле является показательным. Сакральный миф — это линия горизонта истории, где существует постоянная диалектическая связь временного и вечного, без которой исторический процесс неизбежно выхолащивается. Тогда, словно в пораженном болезнью организме, в котором здоровые органы берут на себя функции органов, вышедших из строя, в человеческом сознании происходит гипертрофированный рост относительных исторических ценностей, подменяющих собой ценности метаисторические. Как паллиатив духовной жизни, потребность в которой можно отнести к априорным формам человеческого сознания<sup>2</sup>, с неизбежностью возникают идеологии, пытающиеся восстановить утраченное чувство целостности<sup>3</sup>.

Религиозные культуры и символы подвержены историческому ветшанию. Это своего рода каналы, питающие культуру духовной энергией, как всякое конечное по форме, стремящееся воплотить бесконечное по

<sup>2</sup> По свидетельству американской исследовательницы М. Мид, изыскания ученых второй половины XX в., направленные на поиск уникальной человеческой особенности, отличающей его от животных, показали, что такой особенностью является космическое чувство. «Чувство это, как показывают исследования детей и разных культур, так же реально, как голод, жажда, любовное влечение. Но талант проявления и творческой объективации этого чувства так же редок, как и другие таланты. И уж совсем редко их сочетание» [4].

<sup>3</sup> Г. С. Померанц указывает на различие между религией, как способом ориентироваться в Вечности, и идеологией, как способом ориентироваться во времени.

содержанию, со временем истощаются. Сам же источник духовного вечен. Поэтому через какой-то исторический период перед творцами культуры возникает необходимость прорывать к этому источнику все новые и новые выходы, взамен обессточенных. Эта задача составляет цель и смысл каждой вновь зарождающейся эпохи, вызывающей к жизни новые символы и ритуалы. Насколько эти каналы по своему действию являются универсальными, настолько же универсальной оказывается и новая религиозная культура.

Миф таит в себе огромные культурно-созидательные силы, когда берет свое начало в сакральной почве религиозного мироощущения. Миф, рожденный среди болотных огней лже-сакрализованной идеологии — разрушитель. Первый погружен корнями в абсолютные ценности, соединен единым каналом с сакральным источником; второй возникает из подмены, когда относительные ценности социальной практики предстают как ценности вечные. Механизм подмены основан на неотъемлемом свойстве мифа, которое Н. А. Бердяев определял, как устремленность к тотальности, «целостность в отношении ко всякому акту жизни» [5]. В соответствии с этим, миф заставляет каждое действие человека, любое проявление его внутренней жизни обращать к некоей целостности, соотноситься с ней. Он тотален по своей природе, и поэтому там, где целостность — иллюзия, иллюзорна и жизнь поклоняющегося иллюзии общества.

Когда возникает вопрос об ответственности художника или мыслителя за пущенные ими в ход идеи, то упускают из виду, что идеи сами по себе ничего не решают. Они возникают и имеют обращение в чисто интеллектуальной сфере до тех пор, пока к ним не примешивается волевой компонент. Тогда они трансформируются в мысле-образ с переменным энергетическим зарядом. Здесь происходит перерождение идеи в миф и уже миф выходит на улицу и, овладев массами, становится материальной силой. Хотя, по-видимому, следует разделять, по крайней мере, мыслителей двух типов: спекулятивного и мифотворческого, что, конечно, вовсе не исключает вовлечения любой, даже самой отвлеченной спекулятивной системы в процесс очередного мифотворчества, например, Гегель-Маркс-Ленин. Мифотворческая по своему характеру философия Ницше такой постепенной перелицовки не потребовала. Можно говорить о большей или меньшей предрасположенности тех или иных философских идей к дальнейшим метаморфозам. Но сами метаморфозы зависят от факторов другого рода. Прежде всего от духовного состояния общества. Если мина уже заложена, для того, чтобы ее взорвать, не нужно быть Аристотелем или Кантом<sup>4</sup>.

Встреча с утопией происходит на перекрестке, где время разводит друг с другом миф и историю, а волевое начало, одержавшее верх в единоборстве с воображением и интеллектом, бросается в объятия к мифу. Но парадокс заключается в том, что без утопии нет и истории. Утопия диалектически связана с историческим сознанием, так что полное исчезновение одной неотвратно приведет к полному исчезновению другого. Этого яростные ниспровергатели утопий, к сожалению, не предвидят.

Насколько глубоко эта проблема укоренена в духовной жизни общества, было проанализировано К. Мангеймом в его ставшей классической работе «Идеология и утопия». «В будущем,— полагает автор,— действительно можно достигнуть абсолютного отсутствия идеологии и утопии в мире, где нет больше развития, где все завершено и происходит лишь постоянное репродуцирование, но полнейшее уничтожение всякой трансцендентности бытия в нашем мире приведет к такому прозаическому утилитаризму, который уничтожит человеческую волю. В этой связи следует указать на существенное различие между двумя типами этой трансцендентности: если уничтожение идеологии представляет собой кризис лишь для определенных социальных слоев и, возникшая благодаря выявлению идеологии объективность служит для большинства

<sup>4</sup> «Не „идеи“ заставляли людей в период крестьянских войн совершать действия, направленные на уничтожение существующего порядка. Корни этих взрывающих существующий порядок действий находились в значительно более глубоких жизненных пластах и глухих сферах душевных переживаний» [6, с. 80].

средством достигнуть более ясного понимания самих себя, то полное исчезновение утопии привело бы к изменению всей природы человека и всего развития человечества. Исчезновение утопии создаст статичную вещьность, в которой человек и сам превратится в вещь. Тогда возникает величайший парадокс, который будет заключаться в том, что человек, обладающий самым рациональным господством над средой, станет человеком, движимым инстинктом; что человек, после столь длительного, полного жертв и героических моментов развития, достигший наконец той высшей ступени сознания, когда история перестает быть слепой судьбой, когда он сам творит ее, вместе с исчезновением всех возможных форм, утратит волю создавать историю и способность понимать ее» [6, с. 80—81].

Все, что пишет К. Мангейм в процитированном нами тексте, во многом справедливо, но, как следует из приведенного отрывка, он не видит принципиального различия между утопическим и эсхатологическим мирозерцанием, считая утопическое, как и идеологическое сознание, трансцендентным. С нашей точки зрения анализ, проделанный К. Мангеймом, имел своим объектом не утопический, а эсхатологический тип сознания, так как только последний является трансцендентным по своей направленности.

Как же соотносятся утопическое и эсхатологическое мирозерцание? Одни из ученых, задававшихся этим вопросом, вообще не видят принципиальной разницы между ними, другие, как Х. А. Маравалль, считают, что утопия противостоит миллениаризму, поскольку последний пассивно ожидает прихода тысячелетнего царства, в то время как первая активно пытается его достичь. В свете предложенного нами подхода нельзя согласиться ни с одной, ни с другой точками зрения. Неверно как полное отождествление эсхатологии с утопией, так и полное противопоставление их друг другу. Утопия является исторической редукцией миллениаризма. Это калька, снятая с Вечности и перенесенная на время, калька, соответствующая процессу смены сакральных значений профаническими. Это неизбежный момент в ходе секуляризации христианской культуры. Поэтому, как верно отмечает Маравалль, утопизм связан с «рациональностью ренессансного склада личности» [7, с. 116].

Историческое сознание — это сознание ориентированное, направленное, в нем уже имманентно содержится целевая установка: приход Мессии в иудаизме и окончательное торжество еврейского народа над своими врагами, второе пришествие Христа и торжество праведников у христиан, идея прогресса и, как результат, земной рай для будущих поколений у рационалистов Нового времени и т. д. Эсхатология — это вектор исторического сознания, но вектор не реальный, а идеальный, мифологический по своей природе. Отсюда — иллюзорность конкретных достижений при несомненности духовного результата<sup>5</sup>.

Для иудео-христианского религиозного сознания смысл истории — раскрытие в ней метаисторических ценностей. Эсхатологизм задает стержень, жесткую вертикаль историческому процессу. Для безрелигиозного сознания Нового времени цели и смысл истории вытекают уже из самой истории: вертикаль исчезает. Вместе с ней исчезает и иерархическое единство, отсутствие которого напрасно пытаются восполнить стремительно возникающие идеологии, культивирующие миф о социальной утопии. Происходит подмена ориентиров, связанная с исчезновением целого пласта духовной жизни в результате процесса редукции религиозного сознания. Опыт же установления любых горизонтальных иерархий оказывается исторически негативным, если не опирается при этом на духовную вертикаль. В качестве характерного примера, иллюстрирующего два различных принципа иерархического единства, можно привести параллель

<sup>5</sup> Идеология и утопия — суть историческая редукция религии и эсхатологии из Вечности во время. И то, и другое представляет собой разные моменты единого исторического движения. Их сменяемость является диалектическим процессом просветления — сокрытия метаисторических задач на путях духовного становления человечества. Поэтому утопию нельзя отменить, не отменив и истории, ее можно только преодолеть, нарастив потерянное ею измерение Вечности.

между римскими ремесленными коллегиями и общинами ранних христиан. «Ремесленные коллегии времен империи были организациями, где действовала реальная солидарность маленьких людей в их маленьких нуждах. В этом их быт был сходен с бытом раннехристианских общин. Но каждая отдельная коллегия жила только повседневными групповыми интересами своих членов. „Вселенские“ горизонты были ей чужды, а ее полурелигиозный характер никто не принимал всерьез. Одна из главных функций коллегии состояла в устройстве праздников, но даже праздники ее были будничны — они всего лишь обеспечивали место маленькому человеку в товарищеском кругу, но не давали ему места во вселенной, не осмыслили его бытие. Возникало застойное равновесие двух взаимообусловленных проявлений бездуховности: на одном полюсе — бесчеловечно-абстрактный универсализм империи, на другом — конкретно-конкретная обыденщина профессиональной коллегии. В общинах, начавших складываться в восточных провинциях империи, жизнь тоже наполнялась будничной и осязаемой конкретностью малых дел, но не замыкалась на буднях, а была двояким образом разомкнута: по „вертикали“ — в направлении к единому божеству, понимаемому как единственный исток мирового смысла; по „горизонтали“ — в направлении всех остальных таких же общин, рассеянных по всей империи, по самой идее своей объединенных во „вселенскую“ систему солидарности. Маленький человек в огромном мире в сообществе (хотя бы теоретическом) со своими единовѣрцами решался принять на себя ответственность за судьбы мира» [8].

Ложная сакрализация как метод тотальных идеологий, попытка механистического воздействия на мифологические архетипы не только не способна вернуть историческому сознанию утраченное им ощущение целостности бытия, но, в итоге, приводит к нарастающему чувству бессмысленности человеческого существования в трагически расколотом мире.

Согласно М. Элиаде, история равноценна страданию, потому что она разрушает Космос. Как уже было сказано, по нашему убеждению, это явление присуще только кризисному времени. Именно тогда рационалистическое мышление прибегает к утопии как к мощному обезболивающему наркотику в тщетной надежде обрести утраченную гармонию Космоса и истории. Но за кратковременной эйфорией следует расплата последующими эпохами бессилия и упадка. «...Утопические социальные движения создают иерархические структуры и выдвигают на их вершины властолюбивых и агрессивных лидеров. ... Авторами и поклонниками утопии бывают, как правило, интеллектуалы — люди, претендующие на особую роль в обществе. Для их склонного к абстракции мышления утопия привлекательна прежде всего эстетически. В утопии они отдыхают от деталей, противоречий, дилемм и компромиссов. ... К тому же утопия развязывает волю; отодвигая границы возможного, она реабилитирует прежде всего морально невозможное» [7, с. 176]. Здесь же, кстати, идейные истоки европейского романтизма и вскормленного им символизма, как формы эстетического по своему характеру переживания кризиса истории <sup>6</sup>.

В соответствии с концепцией Тойнби, «... в духовном багаже каждой из цивилизаций есть представление о некоей „Тайне“, связывающей событийную историю с историей как богообщением. Человек соотносит свою практику в рамках „феноменальной“ истории с „Тайной“ через миф...» [10]. В социальных утопиях миф окончательно порывает с «Тайной» и остается в «феноменальной» истории без всякого духовного обеспечения. «Тайне», как категории метафизической, противостоит «секрет», как нечто конкретное, вполне заземленное. Лишенный своей естественной почвы, перенесенный из Вечности во время, миф дает злоещие всходы на искусственных клумбах тотальных идеологий. Лже-сакрализация транс-

<sup>6</sup> «Фр. Шлегель объявлял в одном из фрагментов журнала „Атенеум“: „Революционная воля к основанию на земле царства божия является нервом в прогрессе культуры и кладет начало современной истории. Все, не имеющее отношения к царству божью в современной истории, — только подробность“. В этой тираде весь пафос раннего романтизма...» [9]. Тут же уместно вспомнить эсхатологическую устремленность и предельную эстетическую значимость символа для поэтики символистов.

формирует принципы: «секрет» взамен «тайны», «авторитет» вместо «чуда». Метафизический ужас, переданный библейской формулой «Страшно впасть в руки Бога Живаго», сменяется страхом, исторически конкретным по содержанию, но мифологическим по форме. Например, вселенский заговор евреев, коммунистов, американских империалистов, масонов, общества сатанистов и т. п. вплоть до инопланетян.

Стремление возродить в современном мире сакральную значимость мифа приводит профессора антропологии Нью-Йоркского университета М. Мид к новой и неожиданной форме утопии. «Возвратившись на родину после многолетних исследований на островах Океании, М. Мид разрабатывает проект „тихой революции“ — революции символов, метафор, понятий — и последующего культуростроительства, которое через 25 лет приведет человечество к идиллии — единой интегрированной культуре, модель которой она видит в космических мифах „примитивов“ и в „первобытной литургии — ритуале“, — пишет В. А. Чаликова в послесловии к [3, с. 271]. Утопическим в этом проекте новой Касталии является сама идея строительства определенной культуры с помощью «революции символов, метафор, понятий». Это — рациональная попытка овладения иррациональным миром, основанная на перемене местами причины и следствия. Не символы и понятия рождают новое мирозерцание, а новое мирозерцание выражает себя новыми символами и понятиями. То, что такие мировоззренческие сдвиги не направляются извне, а органически вызревают в недрах сложившейся культурной традиции, подтверждает футурологический прогноз, сделанный В. Н. Топоровым: «Можно предполагать, что за историческим периодом будет следовать новый период, в котором определяющую роль будут играть ценности духовного плана, которые не могут быть описаны исторически и тем более в прогрессивной перспективе... Общие изменения в концепции времени с начала XX в. и все возрастающая роль этой категории в культуре нашего времени также не могут не оказать влияния на складывание более широких, чем исторические, структур» [11] <sup>7</sup>. Развивая идею В. Н. Топорова, в свою очередь, можно предположить, что в процессе перехода к новым, «более широким, чем исторические, структурам», будет возрастать роль легенды и мифа в контексте культуры, как устоявшихся форм духовной связи человеческого сознания с космическим Целым. По оценке К. Юнга: «...единственно возможный путь самоотношения субъекта с первоосновами бытия возможен лишь через построение мифа» [12].

Симптоматично, что нашим современником Даниилом Андреевым принята грандиозная попытка создания новой, космической по масштабам, мифологии [13]. Д. Андреев предвидит в будущем синтез мировых религий, которые он сравнивает с лепестками распускающегося бутона. Но и его космогония открыта навстречу хилиазму и эсхатологизму, как итогу единого мирового процесса, направленного на преодоление исторического времени.

«В вечность есть два выхода, — писал Н. А. Бердяев, — через глубину мгновения и через конец времени и конец мира» [14, с. 117]. Первый — путь созерцания и религиозной культуры, он открыт сравнительно для немногих, второй — для всех. Поскольку утопия «... не только знание но и состояние человека в мире», которое Э. Блох назвал «состоянием надежды» [15] — она является мощным средством перестройки массового сознания. Социальная утопия, как опрокинутый из Вечности во время, с вертикали на горизонталь хилиазм, начинает трансформировать символы и мифы из целостного мира религиозной культуры на одномерное пространство секуляризированной идеологии. В этом пространстве легенда неожиданно оборачивается негативным двойником мифа. Архетипы подвергаются воздействию идеологии, эксплуатирующей глубинные механизмы человеческой психики. Коллективная память включается

<sup>7</sup> Это невольно перекликается с эсхатологическими ожиданиями Исаиха Флорского, считавшего, что заключительная фаза развития и совершенствования человечества, которая будет проходить под знаком Святого Духа, — приведет к абсолютной духовной свободе.

в форсированную работу по преобразованию индивидуального в типическое, а событий в категории. Однако Лазарь не встает, хотя посредством гальванизации подчас и достигается эффект, кажущийся воскрешением.

Для понимания происходящих процессов нам еще раз придется вернуться к принципиальному отличию легенды от мифа. Миф соотносит человеческое бытие с Целостностью, наполняет каждый жизненный акт таинственным космогоническим смыслом. Миф тотален по своему воздействию и обладает огромным энергетическим зарядом сакрального. Легенда — «пороговое» по своей природе явление, как и миф, обладающее способностью формировать архетипы, но меньшей духовной значимости. Легенда так же соотносит существование человека с Целостностью, дает переживание космического единства. Однако, в отличие от мифа, она словно «жилица двух миров», обращена и в сторону Вечности, и в сторону времени. Энергия сакрального в ней уже несколько приглушена, а историческое начало еще не вполне развито. Или, прибегая к метафоре, — миф и легенда соотносятся друг с другом, как боги и герои в греческой мифологии. Здесь разделение происходит не по физической мощи, а по качеству божественной или человеческой природы: бесконечного и конечного.

Для тотальной идеологии, ориентированной на утопию и преобразующей «конкретное» в «образцовое» и «индивидуальное» в «типическое», характерно тяготение к жанру легенды как к естественной форме моделирования нового исторического сознания. Кроме того, энергетическое поле легенды поддерживает определенное духовное напряжение в идеологизированном пространстве тоталитарных систем. Однако этот энергоэффект, как правило, непродолжителен. Легенда, в силу своего «порогового» характера, является только переходным моментом в двух разнонаправленных процессах: восстановления исчезнувшей вертикали, возрождающей целостность культуры, и дальнейшей секуляризации, ведущей к утрате основных сакральных значений.

Иудаизм и христианство органично соединили миф и историю, с одной стороны, введя сакральное начало в сам ход исторического процесса, с другой, одновременно с этим сохранив его трансцендентную соотносимость с историей. Кризис религиозного сознания развел друг с другом миф и историю, разрушив, тем самым, иерархическое единство мира. Попытки восстановить это утраченное единство на основе новых идеологических структур, в силу уже описанных нами причин, оказались не эффективны. Миф и легенда, вместо «очищенной в горниле времени от всего случайного...», возведенной в тип самой действительности», в секуляризованном мире идеологического мышления становятся универсальным орудием деформации действительности, своеобразным механизмом производства массовых миражей. В этой ситуации секуляризованная легенда часто начинает подменять собой миф, оказываясь удобным средством воздействия на коллективное бессознательное, такая легенда не способна к восстановлению утраченного единства человеческого бытия с бытием мироздания. Но в идеологических системах, где восстановление этого единства невозможно, легенда способна создать иллюзию целостности исторического процесса, связуя в некое идеальное единство индивидуальное бытие с постоянно обесценивающим его историческим временем. Легенда — это способ осмысления сверхисторических ценностей, но в контексте исторического бытия, в силу чего она теснее, чем миф, оказывается связанной с земным существованием.

Каков же механизм действия легенды на глубинные пласты человеческой психики? «В символах и мифах, которыми вдохновляется толпа, — отмечал Н. А. Бердяев, — всегда обнаруживаются бессознательные эротические состояния, которые ищут для себя предмета» [14, с. 161]. В не меньшей степени это наблюдение справедливо для легенды. В романе «Бесы» Достоевский рисует необычное душевное состояние Петра Верховенского, захваченного идеей «пустить легенду»: «Самозванца? — вдруг спросил он (Ставрогин) в глубоком удивлении смотря на испуганного. — Э! Так вот ваш план. — Мы скажем, что он „скрывается“, — тихо, каким-

то любовным шепотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный» [16]. Образ Иван-царевича несомненно обладает для Верховенского определенной эротической притягательностью, как образ лидера зачастую становится объектом притяжения для наэлектризованных народных масс<sup>8</sup>. Все индивидуальные различия кумиров толпы не мешают их типизации для последующего воплощения в легенду. Идолопоклонство неизбежно возникает как сопровождающий эротический компонент легенды, воздействующей на секуляризованное сознание. Так как духовная целостность человеческой жизни, с ее постоянной соотносительностью через миф и символ с целостностью Мира оказалась разрушенной, то энергетический заряд, порождаемый инициацией архетипического<sup>9</sup>, реализуется в нижних этажах человеческой психики, не преобразуя, а лишь высвобождая стихию бессознательного. В результате вместо теофании возникает идолофаня.

Наша эпоха обладает прямо-таки болезненной страстью к сотворению кумиров. Эта тяга к идолотворчеству, видимо, вызвана дефицитом личного начала и стремлением компенсировать этот ущерб за счет иллюзии идентификации своего «я» с личностью обоготворяемого кумира. Это привычный путь секуляризованного сознания.

Попытаемся понять механизм такого процесса, сопоставив два типа сознания, характерных для качественно различных стадий развития культуры. Это религиозный пророк и современный вождь-идеолог, наделенный «темной харизмой». И тот, и другой обладают колоссальной властью над душами, и тот, и другой способны вызвать экстатическое состояние у своей аудитории. Основное отличие заключается в характере этого экстатического переживания, в его духовной направленности. Оно может являться как созидательным, так и разрушительным по отношению к личности. Экстаз может быть вызван переживанием слияния с Абсолютом, расширением сознания до чувства единства со всем Мирозданием, и может быть, погружением в безликую, бескачественную стихию, растворением в допотопном хаосе. Первый тип экстатического переживания характерен для пророка, второй — для харизматического вождя.

Появление последнего на арене истории неразрывно связано с появлением масс. Тайна власти такого лидера не в его духовном превосходстве над остальными (в духовном смысле, как доказывает практика, он довольно убог), а в его необыкновенном умении уловить и использовать в своих целях настроения и инстинкты масс. И поскольку сам он является носителем массовой души, то решение этой задачи требует от него, скорее, хорошего нюха, чем блестящего интеллекта. Тип такого вождя-диктатора можно определить как «пошляка с харизмой»<sup>10</sup>. Правда, с кромешно темной харизмой, подкрепляемой бешеной волей к власти; с постоянной внутренней судорогой глубинного переживания личной ущербности, рождающей и демоническую жажду абсолютного самоутверждения. Таким, в частности, увидел Сталина Даниил Андреев: «Лишь на известном портрете, принадлежащем кисти Бродского, глаза раскрыты так, как им надлежит быть: непроглядная тьма, свирепая и грозная, смотрит оттуда. Густые волосы, зачесанные назад, скрывают ненормальность черепа; знаменитые усы смягчают разоблачающую линию губ. Вот почему усы и сами по себе вносят немаловажный оттенок: оттенок какой-то пошловатой примитивности; как если бы обладатель гордился своей мужской грубостью и сам культивировал ее в себе... Неимоверная воля отпечатлелась на этом лице и столь же безграничная самоуверенность. Ни одной черты, говорящей не то чтобы об одухотворенности, но хотя бы

<sup>8</sup> Стоит вспомнить сексуальную подоплеку массовых истерик во время выступления звезд рок-музыки в наше время. Об исторических примерах, относящихся к вождям народа, я уже не говорю.

<sup>9</sup> Термин «архетипическое» используется нами в данном случае не в понимании М. Элиаде, как было до сих пор, а в том традиционном значении, которое он получил в психологии Юнга.

<sup>10</sup> По выражению Г. С. Померанца, «пошлость приходит в восторг и иступление, когда находит саму себя одаренной харизмой» [17, с. 43].



О развитой интеллигентности. Только убийственную хитрость в сочетании с непонятной тупостью можно разглядеть в этих чертах» [13, с. 228].

И все же остается загадкой, как такое ничтожество, не обладающее сколь-либо выдающимися качествами, кроме дикой воли к власти, коварства и патологической жестокости, способно было десятилетиями править огромной страной под гром оваций и крики восторга. Видимо, дело здесь как в особой психологии масс, так и в определенных способностях лидера.

Неслучайно с момента своего зарождения христианство, как религия духовно ориентированная на нравственный «человекомаксимум», подозрительно-враждебно относилась к магам и магии. Магическая сила направлена на сверхъестественное как самоцель и при этом всегда этически не заряжена. Она не различает духов, которых вызывает, и услугами которых пользуется. Она имеет дело со стихией, стоящей по ту сторону добра и зла, и порабащивающей человека, к ней прибегающего. Сегодня, в связи с кризисом религиозного сознания, магия, в лице многочисленных целителей и чудотворцев, не представляющих, какие силы они развязывают, снова выходит на сцену. На сеансах массового гипноза люди, заполняющие стадионы, впадают в состояние транса, оказываются полностью лишеными собственной воли — того, что только и делает их людьми. Подобное же порабощение сознания миллионов гипнозом идеологии стало привычным явлением нашей эпохи. И всемогущие маги — харизматические вожди выступают медиумами страшных и разрушительных для личности сил, природа которых загадочна и темна. К помощи этих сил, по Даниилу Андрееву, обращался и Сталин. «В тридцатых-сороковых годах, — пишет Андреев, — он владел хоххой<sup>11</sup> настолько, что зачастую ему удавалось вызывать ее по своему желанию. Обычно это происходило к концу ночи, причем зимой чаще, чем летом, тогда мешал слишком ранний рассвет. Все думали, что он отдыхает, спит, и уж конечно, никто не дерзнул бы нарушить его покой ни при каких обстоятельствах. Впрочем, войти никто и не смог бы, даже если бы захотел, так как дверь он запирает изнутри. Свет в комнате оставался затемнен, но не погашен. И если кто-нибудь невидимый проник бы туда в этот час, он застал бы вождя не спящим, а сидящим в глубоком, покойном кресле. Выражение лица, какого у него никто никогда не видел, произвело бы поистине потрясающее впечатление. Колоссальные, расширившиеся черные глаза смотрели в пространство немигающим взором. Станный матовый румянец проступал на коже щек, совершенно утративших свою обычную маслянистость. Морщины казались исчезнувшими, все лицо неузнаваемо помолодевшим. Кожа лба натягивалась так, что лоб казался больше обычного. Дыхание было редким и очень глубоким. Руки покоились на подлокотниках, пальцы слабо перебирали по его краям» [13, с. 228]. Эта полная жути картина — легенда, на которой лежат отсветы миров иных, дает лишь косвенное представление о реальности, встреча с которой космическим холодом обжигает сердце. Именно хохха, считал Д. Андреев, «вливала в это существо громадную энергию, и наутро, появляясь среди своих приближенных, он поражал таким нечеловеческим зарядом сил, что этого одного было достаточно для их волевого порабления» [13, с. 228]. Плата за такое порабощение всем нам хорошо известна. Теперь постарайтесь вызвать в памяти образ рублевского Павла или эль-грековского Петра и сравните с картиной, описанной Даниилом Андреевым. Я думаю, что дальнейшее сопоставление двух типов экстатического воздействия на человеческое сознание — излишне. С одной стороны — духовная наполненность, с другой — демоническая одержимость. Здесь — лики, там — личина.

Перейдем теперь ко второй стороне вопроса о природе власти харизматического вождя: к психологии масс, поскольку сами массы вызывают из небытия и высоко возносят над собой очередного черного медиума могущественных и смертельно опасных сил.

<sup>11</sup> Хохха — по определению Д. Л. Андреева — это, собственно, не состояние, а тип состояний, отличающийся один от другого тем, с каким именно слоем и с какой темной иерархией вступает в общение духовидец.

О психологии масс существует обширная литература. Нам остается лишь привести наблюдения, представляющие интерес с точки зрения затронутой нами проблемы. Одно из самых глубоких определений массового сознания принадлежит Н. А. Бердяеву: «Масса определяется не столько социальными, сколько психологическими признаками. ... Главными признаками принадлежности к массе нужно считать невыраженность личности, отсутствие личной оригинальности, склонность к смешению с количественной силой данного момента, необыкновенную способность к заражению, подражательность, повторяемость...». «Вторжение масс,—продолжает автор,— есть вторжение огромных количеств людей, у которых не выражена личность, нет качественных определений, есть большая возбудимость, есть психологическая готовность к рабству. Это создает кризис цивилизации. Масса усваивает себе техническую цивилизацию и охотно вооружается ею, но с большим трудом усваивает духовную культуру. Народная масса в прошлом имела свою духовную культуру, основанную на религиозной вере. Массы же в этот переходный период лишены всякой духовной культуры, они дорожат только мифами и символами, которые им демагогически внушены, мифами и символами национальными и социальными, расы, нации, государства, класса и пр. При этом всегда происходит идолотворение. Ценности с необыкновенной легкостью превращаются в идолы» [18, с. 102—103].

Психологические признаки, как основной критерий в понимании массового сознания, выделяет и Г. Лебон. «Масса чрезвычайно легко поддается внушению, она легковерна, она лишена критики, невероятное для нее не существует. Она мыслит картинками, которые вызывают одна другую так, как они появляются у индивида в состоянии свободного фантазирования. Они не могут быть изменены никакой разумной инстанцией по аналогии с действительностью. Чувства массы всегда очень просты и чрезмерны. Итак, масса не знает ни сомнений, ни колебаний... высказанное подозрение превращается у нее тотчас в неопровержимую истину, зародыш антипатии — в дикую ненависть» [19, с. 186]. «Склонная сама ко всему крайнему, масса возбуждается только чрезмерными раздражениями. Тот, кто хочет влиять на нее, не нуждается ни в какой логической оценке своих аргументов; он должен рисовать самые яркие картины, преувеличивать и повторять все одно и то же.

Так как масса не сомневается в истинности или ложности своих аргументов и имеет при этом сознание своей силы, то она столь же нетерпима, как и доверчива к авторитету. Она уважает силу и мало поддается воздействию доброты, означающей для нее лишь своего рода слабость. Она требует от своих героев силы и даже насилия. Она хочет, чтобы ею владели, чтобы ее подавляли. Она хочет бояться своего властелина. Будучи в основе чрезвычайно консервативна, она питает глубокое отвращение ко всем новшествам и успехам — и безграничное благоговение перед традицией. И наконец: массы никогда не знали жадности истины. Они требуют иллюзий, от которых они не могут отказаться. Ирреальное всегда имеет у них преимущество перед реальным, не существующее оказывает на них столь же сильное влияние, как и существующее. У них есть явная тенденция не делать разницы между ними» [19, с. 186].

Для того, чтобы противостоять психологическому воздействию массового сознания, необходимо поддерживать постоянное духовное напряжение и нравственный самоконтроль. Лебон предупреждает о том, что в толпе у индивидуума исчезает чувство ответственности в связи с анонимностью толпы и ощущением силы. (По мнению З. Фрейда, в этом случае соблазн состоит в том, что индивидуум может не подавлять свое бессознательное.) Существует и гипнотическое воздействие толпы: «... индивид, пробыв несколько времени среди действующей толпы, под влиянием ли токов, исходящих от этой толпы, или каких-либо других причин — неизвестно, приходит скоро в такое состояние которое очень напоминает состояние загипнотизированного субъекта. ... Сознательная личность у загипнотизированного совершенно исчезает, так же, как воля и рассудок, и все чувства и мысли направляются волей гипнотизера» [13, с. 186].

Не напоминают ли эти описания древнюю стадию первобытного сознания, не воспроизводится ли здесь вновь уже пройденный этап прелогического мышления? Не смыкается ли парадоксальным образом дряхлость и детство человеческой культуры?

Леви-Брюль отмечал, что коллективные представления первобытных людей не имеют логических черт и свойств, а коллективное сознание ставит магические свойства вещей выше ощущений, воспринимаемых органами чувств. Эмоциональные элементы преобладают над элементами логическими, в результате чего не соблюдается закон «исключенного третьего».

Массовое сознание, как и сознание первобытное, оперирует не столько понятиями, сколько знаками и символами. И так же находится в плену у коллективных мифов и ритуалов. Но есть принципиальное отличие. Это отличие между сознанием сакральным и сознанием идеологизированным. Поэтому, как уже отмечалось, если мифы, вырастающие на почве сакрального, обладают мощным культуросозидательным импульсом, то мифы идеологизированного, профанического сознания, как правило, разрушительны<sup>12</sup>. Массовая культура духовно бесплодна, хотя и обладает особой, иногда высокой степенью изощренности. Но это изощренность имитатора, а не творца. Первобытная культура, при всей наивности и безыскусности форм ее самовыражения, подкупает напряженностью внутреннего усилия, творческим порывом к обретению языка: Все совпадение только в обманчивом сходстве закатных лучей — с рассветом.

И религиозный пророк, и харизматический вождь-идеолог, экстатически воздействуя на сознание, пробуждают стихию Эроса. Принципиальная разница такого воздействия состоит в том, какие сферы человеческой психики оказываются при этом затронутыми.

Проповеднический пафос пророка, как это, в частности, следует из ветхозаветной Книги Пророков, — это призыв к всенародному покаянию, к искуплению своей вины перед Богом. Все беды, которые претерпевает народ, рассматриваются как наказание за его прегрешения, за его отступление от норм религиозной и нравственной правды. Пророк пробуждает у народа чувство вины.

Идеологический пафос харизматического вождя направлен на возбуждение чувства обиды. Во всех страданиях, выпадающих на долю народа, всегда виновным оказывается кто-то другой. Источник бед в чужой и злой воле, носителей которой необходимо выявить и истребить.

В основе обоих подходов лежит задача восстановления справедливости. Но если в первом случае нарушение справедливости осознается самим народом как его вина перед Богом, и путь восстановления — это путь нравственного преодоления греха, то во втором — существует только вина перед самим народом, и торжество справедливости — в торжестве над его врагом<sup>13</sup>.

Когда человек лишен ориентации на сверхличные ценности, он обезличен; когда народ лишается нравственной ориентации на ценности сверхнациональные, он превращается в массу. Экстатическое по своему характеру воздействие пророка обращено к высшей, духовной сфере человеческого существа; экстатическое воздействие вождя-идеолога направлено на подполье человеческой психики<sup>14</sup>. «Возлюби Бога и делай, что хочешь», — писал Августин [20], призывая к духовной свободе, достигаемой через любовь. В то же время, ничто в такой степени не лишает человека его свободы, как любовь к «народным» вождям. Неслучайно Г. Лебон указывает на склонность к порабощению, как на один из психологических элементов, характеризующих массу. Еще раньше эту же особенность отме-

<sup>12</sup> И в этом коренное отличие мифотворческой миссии религиозного пророка от миссии вождя-идеолога.

<sup>13</sup> «Чувства вины и чувства жалости — аристократические чувства. Чувство обиды и чувство зависти — плебейские чувства» [17, с. 149].

<sup>14</sup> Отметим, что противопоставление религиозного пророка вождю-идеологу в предложенном нами контексте не следует рассматривать как способ классификации. Речь идет только о преимущественных проявлениях той или иной духовной тенденции, а не о принципиальной невозможности совместить их в одном сознании.

тил Ф. М. Достоевский в «Легенде о Великом Инквизиторе»: «Дай слабому человеку свободу, он сам ее свяжет и назад принесет» [21, с. 231]. Слабый человек Достоевского — это человек неразвитого духовного начала, с плохо выраженной индивидуальностью, т. е. в нашем понимании — человек массового сознания. Свобода для него действительно бремя, которого он бежит. Это бремя личного выбора и личной ответственности. И слабый человек всю жизнь озирается в поисках того, кто вместо него возьмет это бремя на себя. Он живет в постоянном внутреннем ожидании прихода Великого Инквизитора. Он раб задолго до появления хозяина. Но на роль хозяина способен подойти далеко не каждый. Кроме желания обладать, сильно выраженной воли к власти и умения любым способом подчинять этой воле других, необходим еще один компонент. Его упоминает Достоевский: «Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться. Но ищет человек преклониться перед тем, что уже бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее перед ним преклонение» [21, с. 236].

Эту задачу придания вождю ореола непогрешимости, а его поступкам бесспорности, решает легенда. Именно поэтому Петр Верховенский уговаривает Ставрогина «пустить легенду». «Миллионы счастливых младенцев» жаждут увидеть Ивана-царевича, и Серому волку достаточно им обернуться. «Мы дадим им тихое, смиренное счастье», — говорит Инквизитор Христу, — «счастье слабосильных существ, какими они и созданы...» [21, с. 236].

Роль по перевоплощению в Ивана-царевича традиционно выполняет эсхатологическая, или, вернее, ее сниженный двойник, утопическая легенда. Захватченность утопической легендой активизирует эмоциональную сферу и способствует объединению массы в едином движении к общей, и, по видимости, спасительной цели. Природу ее гипнотической притягательности хорошо описал Н. А. Бердяев: «Все большие революции доказывают, что именно радикальные утопии реализуются, более же умеренные идеологии, которые казались более реалистическими и практическими, низвергаются и не играют никакой роли... в утопии есть динамическая сила, она концентрирует и напрягает энергию борьбы, и в разгаре борьбы идеологии не утопические оказываются слабее. Утопия всегда заключает в себе замысел целостного, тоталитарного устройства жизни. По сравнению с утопией, другие теории и направления оказываются частичными и потому менее вдохновляющими. В этом притягательность утопии, и в этом опасность рабства, которое она с собой несет» [18, с. 171]. Под ее воздействием возникает и накаляется нездоровая атмосфера бешенования, порождаемая психическим полем экстатически настроенных масс. В этой обстановке всеобщей лихорадки ожидаемого «обетования», появляются и его «пророки», наделенные мощным энергетическим зарядом, способностью стать конденсаторами существующего психического поля и выразителями волевого порыва масс в их устремленности к осуществлению утопии.

Здесь возникает необходимость рассмотреть характер экстатических переживаний с присутствующим в них эротическим компонентом, как средство воздействия пророков и вождей-идеологов на волю и сознание масс.

Состояние экстаза — один из самых древних известных человечеству способов вхождения в контакт с миром сакрального. От священного танца первобытного колдуна до тайных эзотерических оргий, оно культивировалось, как особая связь человека с потусторонним миром.

Макс Вебер считал первобытного колдуна историческим предтечей религиозных пророков. С точки зрения наличия особого дара инволютирования — это несомненно. Однако колдун был способен как избавить страждущего от болезни, так и перевести эту же хворь на соседа. Этически он оставался нейтрален по отношению к силам, которые использовал. В этом смысле он одновременно является и предтечей харизматического вождя. Приобщение к миру сакрального происходит как на высоком, божественном, так и на нижнем, inferнальном уровне: есть дух чистый и есть дух лукавый. Достижение экстатических состояний возможно на

обоих уровнях. Эти уровни существуют в мире и они существуют внутри нас. Искус в том, что, как правило, эти уровни не отделены друг от друга зримой чертой, как белое и черное. В человеке, словно в радуге, часто невозможно уловить границы, где один цвет переходит в другой. Поэтому так легко незаметно соскользнуть в другую цветовую гамму. Что же касается вопроса различения духов, то пророк и поэт всегда ощущают себя только «божьим орудием», «исполнителем воли»<sup>15</sup>, в то время как харизматический вождь стремится к обожествлению собственной личности, его цель — узурпация места Бога, хотя бы и в поработанном, чужом сознании<sup>16</sup>.

Из этих двух типов самосознания, пророка и вождя, рождается и два типа легенды: легенда религиозного и легенда псевдорелигиозного содержания. Первая связывает сознание через фигуру пророка с целостностью, с Абсолютом, вторая подменяет целое частью, создает иллюзию связи с Абсолютом, роль которого берет на себя вождь-идеолог. Метаисторической параллелью к фигуре харизматического вождя представляется легенда о падшем ангеле, впервые отождествившем себя с Абсолютом. Таким образом, феномен самозванчества харизматического вождя, претендующего на статус земного бога в рамках истории, получает дополнительное осмысление в метаисторическом пространстве легенды. Происходит как бы постоянное дублирование во времени грандиозной мистерии, разыгранной в Вечности. Не случайно легенда-утопия своей эсхатологической устремленностью и лже-сакрализованной атмосферой претворения на земле Царствия Божьего, пробуждает в харизматическом лидере комплекс демиурга и инволютирует массы экстатическими приливами космической энергии, действие которой оказывается разрушительным по своему конечному результату. Поразительная распространенность случаев самозванчества на Руси не всегда, по счастью, подкрепляемых личной харизмой, частично может найти объяснение в известной предрасположенности национального характера к утопическим проектам и в неразличении уровней инволютации, вызванным особой склонностью к переживанию экстатических состояний<sup>17</sup>. Отсюда постоянный соблазн подмены и метафизический страх перед пришествием и воцарением антихриста. За исторически конкретной виной мерещился ужас метаисторической расплаты.

В секуляризованном мире современных идеологий стóит, в свою очередь, выделить два наиболее популярных вида легенды. Это — профаническая легенда о сверхчеловеке, обладающем сверхъестественными физическими возможностями; и — лже-сакрализованная легенда о харизматическом лидере, наделенном необычайными интеллектуальными, волевыми, нравственными и духовными качествами, и в силу этой причины являющимся непререкаемым авторитетом во всех сферах человеческой деятельности. Если легенды о непобедимом супермене, по сути, бездуховны и имеют откровенно секуляризованный характер, то легенды о вождь-идеологе основаны на духовной подмене. Как будто фея из гофмановской фантазмагории «Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер» с помощью волшебства наградила маленького уродца способностью создавать иллю-

<sup>15</sup> Отсюда пушкинское: «исполнись волею моею», а также признания многих больших поэтов, включая А. А. Ахматову и А. А. Блока, что это не они, а ими кто-то пишет.

<sup>16</sup> Из ряда харизматических лидеров выпадает аятолла Хомейни, считавший себя лишь «творцом Божьей воли», «орудием в руках Всевышнего». Однако трудно говорить о Хомейни, как о представителе чисто религиозного или только лишь идеологизированного сознания. Скорее, это переходная фигура, совмещающая в себе элементы и того, и другого. Здесь, видимо, определяющим фактором являются специфические черты мусульманской традиции, в которой тесно переплетены религиозные и идеологически-бытовые установки. (Когда пророк Мухамед решил жениться на жене своего племянника, то, как известно, объявил, что такова воля Аллаха). В прокрустово ложе этого разделения не вписывается и Махатма Ганди. Он также фигура промежуточная. Но если Хомейни — харизматический лидер в оболочке религиозного пророка, то Ганди — религиозный пророк в оболочке харизматического лидера.

<sup>17</sup> «Широк человек, слишком широк, я бы сузил», — говорит один из героев Достоевского. Речь идет о способности созерцать обе бездны: идеал Мадонны и идеал содомский одновременно.

зию собственной гениальности и приписывать все чужие заслуги себе одному. Этот дар, который возносит Цахеса на вершину успеха за счет присвоения себе талантов других, по своему действию очень напоминает сеанс массового гипноза. Представьте известную ситуацию: идет концерт выдающегося исполнителя, вдруг на концерте, в ложе вождя появляется, окруженный волшебством легенды и кажущийся от того великаном, кроха. Ликование, овации, успех оглушительный, хотя, как водится, Цинноберу не понадобилось при этом и рта раскрыть. Зал неистово аплодирует мощи его легенды. И даже великолепное искусство выступавшего виртуоза послужит блеску немеркнувшего ореола вождя. В этом магическая сила лже-сакрализованной легенды и ее власть над умами. «Любовь, как и ненависть, питается каждым пустяком», от которого она только ярче разгорается. В экстатически заряженной атмосфере легенды, стихия Эроса легко овладевает сознанием масс и гипнотически завораживает их вырастающей до гигантских размеров фигурой очередного кумира.

Так в легенде, как, пожалуй, ни в каком ином жанре, отразились и нашли свое воплощение поразительные духовные взлеты и глубочайшие нравственные провалы человеческой культуры. Как апостол Петр — небесный привратник, читающий в наших душах отпечаток их дальнейшей судьбы, легенда или отпирала нам врата рая, или указывала путь в сторону адских мук, но свой исторический выбор мы всегда совершали сами.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Веселовский А. Н.* Опыты по истории развития христианской легенды. — ЖМНП, 1875, № 4—5; 1876, № 2—3; 1877, № 2, 5.
2. *Флоренский П. А.* Первые шаги философии. — Сергиев Посад, 1917, с. 24.
3. *Элиаде М.* Космос и история. М., 1987.
4. Социокультурные утопии XX в. Вып. II. М., 1983, с. 57.
5. *Бердяев Н. А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с. 87.
6. *Мангейм К.* Идеология и утопия. Ч. II. М., 1976.
7. Социокультурные утопии XX в. М., 1985.
8. Социокультурные утопии XX в. Вып. II. М., 1983, с. 129.
9. *Берковский И. Я.* Романтизм в Германии. Л., 1973, с. 147—148.
10. *Рашковский Е. Б.* Востоковедческая проблематика в культурно-исторической концепции А. Дж. Тойнби (Опыт критического анализа). М., 1976, с. 46.
11. *Топоров В. Н.* О космологических источниках раннеисторических описаний. Труды по знаковым системам. Уч. зап. ТГУ. Вып. 308. Тарту, 1973, с. 117.
12. *Jung C.-G.* Psychologie und Alchemie. Zürich, 1944, S. 32.
13. *Андреев Д. Л.* Роза мира. М., 1991.
14. *Бердяев Н. А.* О назначении человека (Опыт парадоксальной этики). Париж, 1931.
15. Социокультурные утопии XX в. Вып. V. М., 1988, с. 143.
16. *Достоевский Ф. М.* Бесы. — В кн.: Полн. собр. соч. Т. 10. Л., 1976, с. 323—326.
17. *Померанц Г. С.* Акафист пошлости. — Синтаксис, 1984, № 12, с. 43.
18. *Бердяев Н. А.* О рабстве и свободе человека. Париж, 1939.
19. *Лебон Г.* Психология народов и масс. СПб., 1896.
20. *Августин Блаженный.* Исповедь. М., 1914, с. 167.
21. *Достоевский Ф. М.* Братья Карамазовы. — В кн.: Полн. собр. соч. Т. 14. Л., 1986.



ВАСИЛЕНКО В. Н.

## ЗАБЫТЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Ю. И. КРАШЕВСКОГО

В щедрой на художественные таланты первой величины литературе Польши XIX в. Юзеф Игнаций Крашевский (1812—1887) — один из самых плодovitых и репрезентативных писателей, заслуженно получивших еще при жизни общеевропейское признание, ставших для огромной читательской аудитории примером творческого подвижничества. Пусть не все созданное им и встреченное с энтузиазмом его современниками выдержало проверку временем, но все же ни смена лет, ни стремительные перемены читательских вкусов, ни изменчивость оценок критиков не поколебали главного — силы и глубины литературного наследия Крашевского, влияния его эстетических идей на развитие польского романа. Именно он, считавший своими учителями «Диккенса в Англии, Бальзака во Франции, Гоголя в России» [1, с. 150], положил в национальной литературе начало эпико-реалистическому типу творчества, где «роман, преследующий нравственные цели, превратился в картину эпохи, верное (насколько искусство может и должно быть верным) воспроизведение человеческой жизни, как бы современную историю общества» [1, с. 150]. Крашевский не только заложил основы польского социального романа, но благодаря своей активной общественной и издательской деятельности остался в истории отечественной культуры как прозаик, поэт, драматург, литературный критик, историк, философ, фольклорист, этнограф, искусствовед, художник, археолог [2, с. 26].

Крашевский сделал невероятно много благодаря поражающей всех неистощимой трудоспособности. Современники называли его «человеком-институтом», «писателем-планетой». Это утверждение, ставшее еще при жизни автора чем-то вроде аксиомы, непреложной и самодостаточной истиной, с тех пор традиционно служит отправной точкой едва ли не всех посвященных ему публикаций. Тем не менее, каждый новый или находящийся в тени факт, связанный с истиной, являющийся ее составной частью, дополняющий ее содержательный объем, непременно должен быть учтен и поставлен в общий ряд с теми, которыми уже располагает и оперирует наука.

Подобные мысли способствовали замыслу этой источниковедческой статьи, основанной на разного рода материалах, связанных с именем Крашевского из архивов и библиотек УССР. Будучи чаще всего совершенно разрозненными, они имеют отношение к различным сферам многогранной деятельности писателя, зачастую носят обрывочный характер, напоминая отдельные выпавшие фрагменты некоей колоссальной мозаики. Они представляются чем-то большим, чем случайная сумма спорадических фактов. Отдельные сведения, содержащиеся в разнообразных документах, записях, письмах, рисунках, упоминаниях воспринимаются как отго-

Василенко Владимир Николаевич — канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры зарубежной литературы Харьковского университета.

лоски той мощи, с которой Крашевский вошел в художественную жизнь своего века, как дошедшие до наших дней свидетельства его интенсивной разноплановой деятельности.

Возможно, какая-то часть приведенной здесь информации не является абсолютно новой или даже в чем-то дублирует уже опубликованное. Избежать последнего было трудно из-за невозможности сколь-либо полно учесть все выходящие на родине писателя исследования, освещающие его судьбу, деятельность, уточняющие биографические данные и вносящие постоянные коррективы в существующие представления о принадлежащем ему необъятном творческом наследии. Вместе с тем здесь приводятся сведения как о еще не включенных в активный научный оборот номинально зафиксированных архивных материалах, так и об автографах, существование которых установлено нами и описание приводится впервые. С другой стороны, работа представляет собой попытку обобщения данных, однако не претендует на сколь-либо полный охват имеющихся источников, поскольку несомненно, что со временем будут открыты новые. Имеющийся опыт — достаточное свидетельство реальности такого предположения, ведь «необходимо помнить, что мы до сих пор не открыли и не использовали всех материалов, относящихся к писателю, что постоянно находимся на стадии исследований и „открытий“ в этой сфере...» [3], значит — «надо надеяться, что работа по собиранию и тщательному анализу наследия Крашевского ... будет продолжена и углублена» [4].

Разбросанность довольно значительной части принадлежавших литератору автографов объясняется главным образом двумя причинами. Во-первых, сказалось само обилие созданного им, трудности сохранения его в одном месте (отправлялись письма, дарились и терялись записи, оставались невостребованными черновики, оседали в редакциях многочисленных периодических изданий рукописи и т. п.). Во-вторых, Ю. И. Крашевский подобно многим другим польским писателям той поры, был обречен на вечно неустроенную жизнь эмигранта, много скитался по Европе [5], что отнюдь не содействовало сохранению его личных бумаг.

Ю. И. Крашевский более двадцати лет прожил на Украине [6], бывал в Киеве, Одессе, Львове, но большую часть времени провел на Волыни, входившей тогда в состав литовского государства. С 1834 г. он жил в родительском имении Долге Гродненского уезда, затем — в деревнях Омельно, Городок, Губино, а с 1853 г. — в Житомире. Живописный украинский колорит, самобытные этнографические приметы стали естественным фоном таких произведений, как «Воспоминания о Полесье, Волыне и Литве» (1840), «Уляна. Полесский роман» (1843), «Древняя Литва» (1847), «Волынские вечера» (1859), «На Полесье» (1884) и др.

Материальные памятники, связанные с украинским периодом жизни писателя, преимущественно не сохранились. Не уцелело его имение в с. Городок — хозяйский дом со всеми службами сгорел в феврале 1944 г. В экспозиции Волынского краеведческого музея (г. Луцк) представлены сделанные в 1936 г. фотографии внешнего вида и интерьера этого здания. В селе Макаревичи (бывшее Омельно) существует парк, посаженный Крашевским, в Торчинском народном краеведческом музее Луцкого района Волынской области хранятся личные вещи писателя (шкаф и зеркало), переданные в дар Г. И. Крещук.

Поиски же отсутствующих фрагментов писательского наследия далекого от полноты, приводят в три украинских города — Житомир, Киев, Львов. Архивы первого досконально обследовали В. Н. Баскаков [7], К. Шамаева [8] — хотя, разумеется, не исключается возможность неожиданных находок (скорее всего разрозненных записей, надписей на книгах, официальных бумаг-бланков, заполненных рукой писателя и т. п.).

Более перспективными и многообещающими выглядят предпринимаемые архивные разыскания в столице Украины, где в результате общей тенденции к централизации архивного хранения оказалась сосредоточена значительная масса разного рода материалов, представляющих общекультурный интерес и по большей части не введенных в научный обиход. Сре-





Рисунок Ю. И. Крашевского

ди них немало принадлежащих польскому писателю, разносторонних по характеру и еще не описанных, вследствие чего само их существование практически неизвестно специалистам. Обращение к этим материалам способно заполнить часть имеющихся лакун в наших знаниях о Крашевском, пролить свет на некоторые спорные вопросы.

Значительной коллекцией графики Крашевского располагает Отдел рукописей Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР [9]<sup>1</sup>.

Всесторонне одаренный Крашевский был неплохим рисовальщиком, умело владел карандашом, пером, кистью и сделал немало зарисовок. Его рисунки — это чаще всего беглые, торопливо сделанные эскизы, наброски, призванные зафиксировать привлечший внимание писателя зрительный образ, удержать его на поверхности листа, чтобы позже оживить в памяти давние пейзажи и ситуации и тем самым возродить утраченную свежесть первого наиболее яркого и эмоционального впечатления. Обилием таких рисунков пестрят и поля рукописей его великих современников — Теккерея, Пушкина, Лермонтова, Гофмана, Гюго. Графические работы Крашевского предстают органической частью его творчества; они делают особо наглядным характер его образного видения мира, свойственное ему как писателю-художнику умение схватить скупыми средствами главное и вместе с тем отсутствие пренебрежения к деталям, тяготение к особой пластической выразительности, материальной «зернистости» изображаемого им мира. В большинстве случаев это эскизные зарисовки, сделанные во время отдыха, прогулок, путешествий. Тематикой их обычно являются пейзажи, картины села и города, компоненты архитектурно-

<sup>1</sup> По-видимому, это то собрание альбомов и разрозненных рисунков (в общей сложности свыше 200 работ), о котором «Польский биографический словарь» сообщает, что оно сохранилось в «музее Киева» (см. [10]). Наличие графических работ Крашевского в музеях Киева не установлено.

го убранства (ордера, капители, фризы, колонны, арки и т. п.), растительные и геометрические орнаменты, стилизованные сюжеты из античности и средневековья, романтические руины, изображения исторических личностей и собственных литературных персонажей и пр. (см. беглое упоминание об этих рисунках в [11]).

*Альбом рисунков.* Формат 17,3 × 21,4 см, 181 лист, из которых 43 чистые. 12 рисунков сделаны пером, остальные выполнены в карандаше. 2 рисунка датируются 1845, 1846 гг. Альбом представляет серию эскизов, сюжетно никак между собой не связанных, представляющих изображения сельских видов, беглые зарисовки человеческих лиц (так называемые «головки»), кладбищенские мотивы, евангелические сюжеты и пр. Все листы альбома имеют тиснение в правом верхнем углу: в овальной рамке изображен слон, а по ее контуру воспроизведена надпись «Troszcza I. C.» [9, ед. хр. 12].

*Альбом рисунков на 5 не скрепленных листах.* Формат 18,1 × 27,4 см. На титульном листе надпись — «Альбом Ю. И. Крашевского, 1879». Содержит наброски, выполненные тушью и карандашом, которые представляют сценки городской жизни, главным образом, уличную толпу. Один из рисунков озаглавлен «Варшава д. 18 VI 1879» [9, ед. хр. 13].

*Альбом карандашных рисунков.* Формат 17,1 × 24,4 см, 11 листов. Не датированный. Тематикой являются бытовые сценки, различные детали архитектурных памятников [9, ед. хр. 14].

*Тетрадь неоправленных рисунков.* Формат 18,8 × 24,2 см, 21 лист. Некоторые рисунки датируются 1834, 1836, 1839 гг. Техника выполнения — перо, тушь. Сюжеты — наброски человеческих тел, изображения фрагментов архитектурного убранства разных стилей (ордера; отдельно — капители, архитравы, пилястры, колонны, другие элементы фасадов и пр.), интерьеры, растительные и геометрические орнаменты. Здесь же видим изображения Эразма Роттердамского, У. Шекспира, У. Хогарта, О. де Бальзака. Под отдельными рисунками подписи: «Вид из окна ванной. Романов, 1834, 28 сентября»; «Камин в Романове, комната тетки. 20 сентября 1834». Изображение сельского костела сопровождается словами «Романов, 21 июля 1836» [9, ед. хр. 15].

*Тетрадь рисунков под названием «Хаос».* Формат 26,4 × 18,5 см, 10 листов. 1836 г. Бытовые сценки, изображенные тушью на плотной серой бумаге, отдаленно напоминают морализаторские сюжетные серии Хогарта: «Объяснение», «Помолвка», «Танец», «Мать», «Гражданская война» и др. На одном из листов воспроизведена келья схимника [9, ед. хр. 16].

*109 рисунков на отдельных листах,* существенно отличающихся своими размерами. Тематика самая разнообразная: сцены из быта провинции и города, пейзажи, разного рода эскизы, аллегорические фигуры, анималистические изображения, флора и т. п. 9 рисунков сделано пером, остальные — карандашные. На 7 рисунках видны даты: 1852, 1856, 1856, 1858, 1862, 1867, 1877. Один рисунок, изображающий живописные развалины древней постройки, имеет подпись: «Италия, этюды из путешествия Ю. И. Крашевского». На другом — изображение старинного замка озаглавлено «Боргетто под Римом, 6 VIII 1858» [9, ед. хр. 17].

Как явствует из содержания и датировки этих рисунков, они, как и некоторые последующие, были сделаны во время первого европейского путешествия автора в конце 50-х годов, когда он посетил Вену, Венецию, Рим, Неаполь, Марсель, Париж, Брюссель, Дрезден. Особенно заметный след в его творчестве оставило посещение Италии [12]; восторженные упоминания об этой стране заполнили страницы «Путевого дневника» (1866), отразились в произведениях «Капри и Рим. Картины первого века» (1860), «Рим при Нероне. Исторические картины» (1866), где значительную нагрузку нес прежде всего визуально-изобразительный ряд, опорой которого служили и сделанные писателем наброски, кстати, считающиеся утраченными [12, с. 112]. Они могли бы послужить прекрасными иллюстрациями-заставками к его «Путевому дневнику», обогатив содержание этой неоднократно издававшейся дневниковой прозы. Так, упомянутое выше графическое воспроизведение внешнего вида древнего замка соот-

ветствовало бы следующим строчкам: «...добрались поздним вечером в Боргетто, некогда якобы владение Фарнези, ибо замок, живописные руины которого здесь виднеются, называется Кастро Фарнези» [13]. Более подробно об итальянской теме в творчестве Крашевского пишет Т. Синко (см. [14]).

*Подборка рисунков на отдельных листах разного формата.* 17 листов. Три рисунка выполнены карандашом, остальные — пером. На двух имеются надписи: «Голова Данте с фрески Оргagna в Мария ноэлла во Флоренции, 1 июля 1858 г.»; «Замковая церковь в Кодно над Бугом, рисовал с натуры Ю. И. Крашевский 1844 г., д. 8 сентября» [9, ед. хр. 18].

*Два тонко и скрупулезно выполненных портрета неизвестных.* Без даты. Рисунок пером: изображение мужской головы (формат листа 10,1 × 13,2 см). Карандашный рисунок: лицо женщины (формат листа 7,8 × 11,1 см) [9, ед. хр. 19].

Перечисленный ряд изобразительных работ Ю. И. Крашевского продолжают хранящиеся во Львовской картинной галлерее три небольших живописных полотна, изображающих глухие лесные углы и крестьянские избы — «Пейзаж», «Зимний пейзаж», «В чащобе», а также несколько карандашных рисунков («Уличная сцена в городке». 1850. 14,3 × 12,5 см. Внизу — дарственная надпись: «Графу Владимиру Дзедушицкому в Губне»; «Крестный ход». 1852. 18,6 × 15,5 см); На обратной стороне подпись: «Для п.[ана] Люциана Семенского»; «Старик и старуха в поле зимой». 15,8 × 15,5 см; «Крестьянин с топором». 20,1 × 17,1 см; «Дом Степана Чернецкого в Грудзеницах». 1866. 20,5 × 29 см), недавно выставленных в Вильнюсе и внесенных в каталог экспозиции [15].

В фондах Отдела рукописей Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР имеются две кабинетные фотографии писателя [9, ед. хр. 20]: (одна сделана в Дрездене 22 октября 1873 г.) и фотографии его сына Францишка [9, ед. хр. 21] (снимок датируется 1865 г.). Несколько фотографий Крашевского хранится во Львовской библиотеке им. В. Стефаника АН УССР. Две из них находятся в альбоме З. Романович [16, ф. 99, ед. хр. 4, л. 49, 99] (с дарственной надписью З. Романович от 12 июля 1867 г.), семь — в разрозненном хранении [17, ф. 1, ед. хр. 378 (есть дарственная надпись В. Бэлзе, датированная 20 июля 1877 г.), 4706, 4736, 4814, 21035, 21039, 21637].

В собрании Отдела рукописей Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР хранится составленная К. Крашевским и изданная в Познани в 1862 г. «Монография дома Крашевских» [9, ед. хр. 9], на полях которой многочисленные пометы (в том числе — и исправления некоторых фактов), сделанные рукой Ю. И. Крашевского. Здесь же несколько его объемистых рукописей: переплетенная в картон своего рода книга-каталог (28,5 × 22 см, 620 л.) с выписками из актовых записей XVI—XVII вв., освещающих происхождение ряда древних польских родов (в тексте имеются изображения их гербов и геральдики) [9, ед. хр. 8]. Тематически к этой рукописи примыкает другая [9, ед. хр. 11] (24,2 × 18,8 см, 7 л.), содержащая разного рода подготовительные выписки и заметки, касающиеся исторического прошлого украинцев, молдаван и татар.

Здесь же [9, ед. хр. 10] содержится рукопись (35,5 × 23 см, 195 л.) романа «Жизнь и приключения я. [сно] в. [ельможного] пана Юзефа Габриеля из Газды графа Годзского воеводы Подляского», публиковавшегося в 1859 г. на страницах «Tygodnikie Pustrowanego» (№ 1—3) и вышедшего отдельным изданием в Варшаве в 1908 г. К ней в жанровом отношении примыкает хранящаяся в [18, ед. хр. 2639] рукопись-автограф романа «Мачеха» (26,5 × 20,0 см, т. I — 300 л., т. II — 303 л., т. III — 301 л.), публиковавшегося в «Gazecie Warszawskiej» (1872), «Tygodniki Mód i Romanów» (1873), отдельно изданного в Варшаве в 1873 г. и появившегося в русском переводе еще при жизни автора («Dziennik Warszawski», 1877).

Самый большой интерес как в текстологическом, так и в историко-литературном аспектах представляет до сих пор считающаяся утраченной рукопись полного переложения Крашевским «Божественной комедии» Данте. Бесследно пропавшей ее считали многие исследователи [19, s. 2;

20; 21, s. 58, 122; 22; 23]. Между тем она многие годы находится среди бумаг писателя, оказавшихся в составе фондов Отдела рукописей института литературы им. Т. Г. Шевченко [9, ед. хр. 7]. Это хорошо сохранившаяся объемистая (205 л.) тетрадь 36 × 21,5 см, оправленная в плотные картонные обложки черного цвета. На кожаном корешке имеется золотое тиснение DANTE. В нее включено восемнадцать разрозненных дополнительных листов, содержащих варианты или редакции некоторых частей основного текста перевода. Сам текст, написанный черными, слегка выцветшими чернилами и в отдельных местах — карандашом, отчетлив, хотя и не всегда разборчив, поскольку польский литератор имел обыкновение пользоваться скорописью, чем-то средним между обыкновенным письмом и стенографией. Титульный лист рукописи содержит: заглавие — «„Божественная Комедия“ Данте Алигьери ритмическим стихом Ю. И. Крашевского» (по примеру своих предшественников автор обратился к силлабическому одиннадцатисложному нерифмованному стиху. — В. В.). Далее следует эпитафия на итальянском из дантовского «Пира»; карандашный набросок левого профиля головы Данте в лавровом венке, а также подсчет времени, понавоившегося Крашевскому для осуществления полного перевода (по всей видимости, мы имеем дело скорее с его первым вариантом, чем с полностью завершенным художественным целым), из которого явствует, что работа над ним началась 27 февраля и закончилась 14 апреля 1864 г., заняв 48 дней. «Ад» был переведен за 13 дней, столько же времени ушло на перевод «Чистилища», 22 дня — на переложение «Рая». Сетование В. Данека, что мы «не можем сегодня сказать, как протекала работа над переводом всей поэмы» [24], оказалось преждевременным — в тексте перевода датирована каждая из ста песен, так что исследователь получает не только живой литературный материал, но и хронометраж его возникновения.

Данте занимал Крашевского на протяжении всей творческой жизни — его мотивы, образы прослеживаются в целом ряде произведений: «Под итальянским небом» (1845) «Божья челядь» (1857). «На кладбище — на вулкане» (1864), «Даймон» (1879), «Больные души» (1880), «В скитаниях» (1881—1882) и др. Анализ художественной деятельности Данте Крашевский посвятил цикл своих лекций, читавшихся в 1867 г. во Львове и Кракове. Их последующее издание [25] дало все основания считать его одним из основателей современной польской дантологии [26], а его капитальный научный труд — первой в Польше монографией о Данте [21]. О глубине интереса Крашевского к Данте свидетельствует хотя бы такой факт: в каталоге его домашней библиотеки, составленном после смерти писателя его сыном Францишком и украинским литератором-демократом М. Павликом, выделена специальная рубрика «Дантеана» [27, s. 407—409], насчитывающая 54 наименования различных изданий произведений итальянского поэта и исследований о нем.

Помышлять о переводе «Божественной комедии» Крашевский начал еще в середине 50-х годов, но вплотную приступил к нему лишь спустя десять лет, оказавшись, подобно Данте, в положении политического изгнанника. К тому времени уже появился полный польский перевод Ю. Корсака [28], а также при непосредственной помощи Крашевского готовился еще один — А. Станиславского, который был напечатан в дрезденской типографии польского романиста в 1870 г. [29]. Крашевский же опубликовал только некоторые фрагменты своего перевода, видимо, не считая его совершенным или руководствуясь какими-то иными соображениями. Так, достоянием читателей стали XXXI—XXXIII песни «Рая» («Biblioteka Warszawska» 1866, т. 1), XI песня «Чистилища» («Sobótka», 1875) и те отрывки, которые были им включены как иллюстративный материал в текст своих публичных лекций о Данте. Рукопись в целом так и не была издана. Судя по всему, последним из специалистов, кто держал ее в руках, был львовянин А. Зиппер, давший в «Dzienniku Polskim» ее беглое описание, заключив его нотой сожаления: «Может удастся найти еще что-то из перевода Данте, но мала надежда, что из обрывков сложится надлежащее целое» [19]. Последовавшую судьбу этой ру-

кописи проследить не удастся, однако важнее то, что она уцелела, существует как литературный памятник.

Большая и, несмотря на появившиеся уже публикации [30—32] до сих пор все еще мало исследованная тема — эпистолярное наследие польского романиста.

Даже его современниками, любившими и умевшими писать пространные письма, оно воспринималось как нечто полуполюгендарное, и тем более невероятным по своему размаху и объему оно представляется нам, привыкшим к многообразию форм коммуникации и утратившим вкус к писанине писем. Для писателя же обычным делом было отвечать в день на 20, а то и 30—40 писем своих бесчисленных корреспондентов. Так, в 1870 г. он поддерживал переписку со 110 из них. Не удивительно, что количество написанных им писем оценивалось по-разному. По данным, приведенным М. Руликовским [33, с. 3], А. Бжостовский называл цифру 200 тыс., К. Эстрайхер — 20 тыс., А. Ролле — 3 тыс. С. Буркот определяет объем эпистолярного наследия в 40 тыс. писем [34]. Приведем по этому поводу образно-эмоциональное высказывание одного неизвестного мемуариста: «...если б посчитали буквы, было бы их несколько десятков миллионов, если бы измерили чернила — было бы десятков горшков. Перьев хватило бы на тысячи крыльев, если б собрать бумагу, можно бы весь уездный город оклеить, если б все мысли согнать — не хватило бы места на краковском рынке, были бы давка, шум и несогласие на десятки миль» (цит. по: [35]).

В разных странах писались эти письма, разными путями доходили до своих соотечественников, каждый раз разной и в то же время в чем-то сходной была история их обнаружения. Нашедшие, а иногда и нет, в своей эпохе того адресата, кому предназначались, неизменно проникнутые мыслью о понимании человека человеком, доверительные или сугубо официальные, скупые или подробные, они обладают удивительным, постепенно открывающимся в них свойством — быть адресованными всему своему народу, пребывать к нему из забвения. До сегодняшнего дня идут к нам издаലെка письма Крашевского.

У одного из них есть своя предыстория, без которой будет неясной и сама судьба этого во многих отношениях необычного письма, адресованного всем людям доброй воли.

В 1859 г. романист издал во Львове свои «Волинские вечера», где, приняв «участие в дискуссии об облегчении доли крепостных» [36], весьма остро критиковал шляхту за самолюбование, социальную апатию, разложение и лень. Брошенные им семена упали на благодатную почву. Прогрессивно настроенная часть общества, так называемые «молодые», горячо и обрадованно приветствовали появление этого произведения, в то время как консерваторы, «старые», оскорбившись, воспылали неприязнью к автору, называя его Робеспьером, Маратом и т. п. Имя писателя оказалось в эпицентре ожесточенного общественного спора. Со словами поддержки к нему в Житомир приезжали делегации «молодых» и встречали там радушный прием хозяина, который считал необходимым откликнуться на эту акцию письмом-воззванием. Оно сохранилось среди бумаг С. Бушчиньского и было опубликовано К. Бартошевичем, причем в комментариях ученый счет необходимым заметить, что Крашевский данное послание «или не выслал, или же существовали две его редакции» [37, с. 11]. Приводим его текст по Бартошевичу:

«Как в час борьбы и противостояния дороги знаки сочувствия, поддерживающие человека на его пути, убеждающие его, что с него не свернул, вливающие силу и веру. Примите, благородные земляки, за доброжелательные слова, которыми вы меня облагодетельствовали, глубочайшую благодарность, идущую из растроганного сердца. Я терпеливо снес посланное Богом, не отрекся от правды, но должен возразить перед Вами, лучше понявшими меня, что руководившее мною чувство не было ни гордыней, ни самолюбованием, ни минутным раздражением; что адресованные стране горькие и мучительные слова, тревожили меня как ее сына, а диктовала их наивная любовь к нашей земле, ее прошлому и будущему.

Согласится со мной каждый любящий страну, что в последнее время мало она проявляет признаков жизни и зримо обессилела, не то чтобы мертвой была или без сил, но долгое страдание ее временно превозмозгло. Необходимо было, нарываясь даже на непонимание и самопожертвование, сказать нелицеприятные слова по поводу наших нелицеприятных проблем. С верой в страну и непоколебимой любовью к ней я сделал это, а если и страдал, то горжусь этим и почитаю это для себя счастьем, что дано мне было страдать во имя правды; горжусь этим затем, что мое положение вызвало дорогое мне проявление Вашего сочувствия. Сохраню его как самую дорогую для меня память; как свидетельство своего служения стране, которая если не соответствовала желаемому, то повинны в этом уставшие силы, не дающие исполниться тому, чего жаждало сердце, пронизанное чувством чистой любви к нашей земле.

Примите самые искренние слова глубокого уважения и благодарности. 22 июня 1859» [37].

Известно, что Крашевского посетила киевская делегация в составе Л. Совиньского, В. Лясоцкого и Г. Ожеховского. Воспоминания об этой встрече революционно-демократического поэта Л. Совиньского публиковались в 1878 г. на страницах «Echo». Там, в частности, писалось: «Горячая поддержка молодого поколения, которое в ту пору, из-за ненормального состояния общественной жизни, составляло как бы отдельный лагерь, уравновешивала взрыв старших и должна была быть приятной Крашевскому. Его письменный ответ, весьма сердечный и благородный, я долго хранил в оригинале, но он пропал у меня в какой-то суматохе. А жаль. Можно было бы его здесь напечатать» (цит. по: [38]).

Это письмо-воззвание, письмо-прокламация сохранилось в фондах ЦГАИ УССР (г. Киев). Его обнаружила К. Шамаева, писавшая об украинских архивных материалах, связанных с именем Крашевского, но идентифицировав его как письмо к «неизвестному адресату» [8, с. 118], ограничилась брошенным вскользь замечанием.

Между тем, это послание Ю. И. Крашевского к прогрессивным силам польского народа было изъято 7 апреля 1868 г. во время обыска у жены Л. Совиньского, по определению жандармских чинов, «известного польского агитатора» [39, оп. 818, ед. хр. 104, л. 3]. В протоколе обыска сообщалось: «... в альбоме находилось и письмо в патриотическом духе И. Крашевского, адресованное безлично, писанное 26 мая 1859 г. из Житомира. Письмо это, надо полагать, вызвано приглашением его, Крашевского, Совиньским и тому подобными, по собственному выражению Крашевского, принадлежащих к „молодому поколению“, — принять участие в деле восстания, ... насколько можно из него судить, то Крашевский также должен был играть не последнюю роль в последнем (1863 г. — В. В.) польском восстании» [39, оп. 818, ед. хр. 104, л. 3 — 3 об.]. В свете сказанного становится понятным, что слова Л. Совиньского о «какой-то суматохе» — неизбежная эвфемистическая формула. Теперь можно выполнить и его пожелание о публикации этого письма, казавшееся ему, когда он писал об этом, уже неосуществимым:

«С самой живой признательностью воспринял воззвание Ваше, знак сочувствия молодого поколения не одиночке — поскольку она в больших делах жизни имеет малый вес — но основам и идеям, которые двадцативосьмилетним трудом я старался поддерживать.

Примите, благородные сограждане и будущая надежда страны, выражения сердечной благодарности. Ваш голос поддерживает меня, свидетельствует в мою пользу и укрепляет силы, ибо утверждает веру в будущее.

Не сомневался я в ней никогда, а если случалось горькими словами и упреками разразиться над современностью, хорошо знал, что праведные сердца и возвышенные умы распознают в этом сетовании любовь к стране и горячее желание ей добра...

Те, что превратили это в преступление, учинили сие через личную неприязнь или поверхностное понимание вещей. Здоровая часть страны, к которой Вы принадлежите, не заподозрит меня в неблагоприятных мотивах, ибо жизнью я старался доказать, что не привык им поддаваться.

Придя с выражениями сочувствия и понимания в момент, когда другие отдаляются от меня, Вы поступили с благородством, свойственным Вашим сердцам и характеру. Пусть Бог наградит Вас утешением, которое я познал, всем добром и всей силой, которых можете пожелать. Не требовал я и не требую сверхчеловеческих жертв от нас, но веры, стойкого труда для будущего страны, уважения к прошлому, нелживости по отношению к управлявшим ею принципам, готовности к жертвам для общего добра. Вы поняли это, и поэтому Ваши сердца и руки поддержали меня в тяжелый час. Примите еще раз повторенную благодарность, посланную Вам из глубины души, за слова надежды и за пример деяния, который Вы демонстрируете так охотно и сердечно.

С горячим чувством надежды на будущее я прочитал слова дорогого Вашего воззвания и сохранию их как доказательство, что молодое поколение не отрекается от старых и святых принципов, что на благородном пути, не раз уже политом кровью, соизмеряет шаги не стертymi следами отцов и дедов.

С верой, с работой, с надеждой пойдем дальше, не оглядываясь на суматоху и крики, куда приказывает долг, куда зовет обязанность, ибо лучше страдать за правду, нежели отречься от нее ради праздного покоя; — разрешите мне, господа, принять участие в деянии Вашем, как и в мысли, что его породила.

Честь и поздравления благородной польской молодежи!

д. 26 мая 1859. Житомир

Ю. И. Крашевский

[39, оп. 818, ед. хр. 104, л. 22—22об., 23].

Не так давно нами была обнаружена считавшаяся утерянной большая (221 письмо) переписка выдающегося романиста. Она сохранилась в старых, лишь сейчас каталогизированных материалах Отдела рукописей НЦБ им. В. И. Вернадского АН УССР [18, ед. хр. 1089—1309], куда попала в составе коллекции автографов, собранных польским библиофилом К. Жолкевским, жившим до Октябрьской революции на Уманщине. Переписка обширна — 432 листа убористого текста. Не менее внушительные ее хронологические рамки — с 11 марта 1869 г. по 26 апреля 1876 г. и с сентября 1878 г. по март 1887 г.

Все эти письма к соотечественнику Крашевскому, парижанину по месту жительства, В. Ходзькевичу (1820—1896) — человеку весьма разносторонних интересов<sup>2</sup>. Их знакомство, начавшись еще в 1843 г. на Волыни, постепенно переросло в крепкую дружбу близких по духу людей, которая оказалась неподвластной времени — последнее письмо Ходзькевичу Крашевский отправил за две недели до своей кончины.

Согласно сведениям, приведенным М. Руликовским, по состоянию на 1939 г. выявленными числились только письма Ходзькевича к Крашевскому (185 писем, датированных 1845—1887 гг.) [33, с. 19—20]. Несколько иные данные находим в «Nowym Korbutie»: 179 писем (3 от 1845—1847 гг. и 176, написанных в период 1869—1887 гг.) [41].

Таким образом, уже одно простое количественное сопоставление позволяет говорить об установлении существования комплектности пере-

<sup>2</sup> Довольно видный, хотя сейчас фактически полузабытый деятель польской культуры XIX в., ученый-ориенталист, писатель, переводчик (одним из первых взялся за перевод на польский «Слова о полку Игореве»), общественный деятель. С 1851 г. постоянно проживал в Париже, был ассессором местной Польской публичной библиотеки, вице-председателем Парижского историко-литературного общества. Принимал участие в Крымской войне как переводчик при штабе Наполеона III. Состоял в знакомстве с рядом видных польских писателей, среди которых были А. Мицкевич, С. Гоциньский, Ю. Б. Залеский, К. Гашиньский, Ц. К. Норвид; поддерживал связи с критиком А. Креховецким, художником Ю. Коссаком. Сотрудничал с польскими журналами «Bluszcz», «Tygodnik Ilustrowany», «Codienna Warszawa», «Gazeta Lwowska». Написал трагедию «Гаман» (Лейпциг, 1846; 2-е изд. — 1852); романы — «Три лилии» (Вильно, 1846), «Исторические польские сцены XVI и XVII веков. Народный роман», т. I—III (Вильно, 1847; 2-е изд. — 1852), «Наша земля» (Петербург, 1859), «Дневники бродяги», т. I—II (Львов, 1903). Ему адресовано посвящение известного романа Ю. И. Крашевского «Крестянский король» (1881) — в знак «искренней дружбы, уважения и благодарности» [40].

писки между Крашевским и Ходзькевичем и тем самым вселяет надежду на ее возможное обнародование в обозримом будущем. Ведь речь идет об эпистолярном диалоге между двумя писателями, образованнейшими людьми того времени, обладавшими широким кругозором, собственным мнением по поводу происходившего в мире, а такой материал обладает бесспорной историко-литературной значимостью.

Этот многолетний обмен письмами по самому своему тону скорее напоминает дружественный разговор, всегда ровный, неизменно почтительный, иногда подробный и обстоятельный, но чаще горюливый, «на бегу». Письма писались Крашевским нередко с интервалом в 2—3 дня, как бы шли вдогонку друг другу. Обсуждаемые в них вопросы возникали вновь и вновь, даже если между первым и последующим упоминанием о них проходили годы, многое же затрагивалось проходя, чтобы больше к нему не возвращаться. Написанные в разных городах Европы они, словно точки на карте, отмечают маршруты Крашевского: Варшава, Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Тулон, Херес, Вильдбад, Эмс, Берлин, Магдебург, Генуя, Сан-Ремо, Монтре, Флоренция, Женева. Среди затрагиваемых в них вопросов и события политической, общественной, культурной жизни европейских стран, и информация о чисто профессиональных заботах (ход работы над отдельными произведениями, переводческая деятельность, отношения с издателями, финансовые дела, конъюнктура книжного рынка и т. п.), и обстоятельства личной жизни.

В частности, Ю. И. Крашевский подробно пишет о политических разногласиях между Россией и Пруссией; в своих постоянных исторических экскурсах затрагивает события прошлого Польши, Франции, Австрии, Пруссии. Его немало занимает личность последнего польского короля С. А. Понятовского, по делу издания писем которого он хлопочет в начале 80-х годов. Писатель уделяет много места сложным перипетиям создания и публикации своих произведений («Старое предание», «Сумасбродка», «Крестьянский король», «Приключения пана Марка Гиньчи», «Графиня Козель», «Кордецкий», «Зыгмунтовские времена», «Литературные, фантастические и исторические путешествия», «Повесть без названия» и др.), пишет о срыве своих соглашений с «Gazeta Codzienna», о литературном конгрессе в Риме, о подарке португальскому королю сочинений Шекспира, о коллекционировании гравюр Фалька и Гондиуша, о популярном издании сочинений поэта-романтика Ю. Б. Залеского, о полученных письмах от Ц. К. Норвида, о своих переводах из Плавта и т. п. В письмах рассыпаны высказывания о творчестве Я. Длугоша, Г. Сенкевича, Ф. Скарбка, А. Мицкевича, Э. Ожешко, В. Скотта, И.-В. Гете, В. Гюго, Ж. Санд, Стендаля, Э. Золя, Гафиза, Ч. Диккенса и многих других, уже одно перечисление имен которых было бы излишне громоздким.

Стоит отметить и наличие в этой корреспонденции нескольких писем, написанных Крашевским в годы тюремного заключения (1883—1885), когда он по приговору Высшего трибунала Пруссии, состоявшегося, как позже стало известно, под явным нажимом Бисмарка, был обвинен в шпионаже в пользу Франции и отбывал наказание сначала в берлинской тюрьме Моабит, а позже — в магдебургской крепости. Два письма, от 19 и 25 июля 1883 г., написаны на специальном почтовом бланке с грифом «Следственная тюрьма старый-Моабит»; одно, от 20 июня 1884 г. отправлено из Магдебурга.

В письме, отправленном из Дрездена 26 апреля 1876 г., Крашевский информирует Ходзькевича о тяжелой ситуации на польских землях: «У вас печаль — но не лучше и здесь — в стране. В каждой ее части вырывается иной крик, иная боль, но отовсюду пишут и жалуются ... все свидетельствует о разложении, вырождении, неверии в будущее» [18, ед. хр. 1093].

Особый интерес представляет письмо от 20 ноября 1880 г., в котором автор по просьбе адресата приводит довольно подробную биографическую информацию о себе. Вот выдержки из этого обширнейшего и местами абсолютно неразборчивого (на трудный почерк писателя сетуют все его исследователи) письма:



Мой дражайший... За твои письма даже не знаю, как выразить тебе благодарность. Не ответил, поскольку сначала не знал, когда вернешься, а после с этим моим несчастным паспортом была и есть такая канитель, глупо, что даже заболел — но спросите Коссилей, как и что мы говорили о Вас, и как Вы меня сердечно занимаете, как привязан я и благодарен.

Этот паспорт и различные *семейные* мои беспокойства и хлопоты так меня доняли и гнетут, что временами приходится опасаться за остатки рассудка<sup>3</sup>. Но — хватит. Признательности не умею вам выразить, можно почувствовать ее во мне, но написать не умею.

Только, мой дорогой, добром ли обернется это занятие людей мною<sup>4</sup>, когда они (французы) положения нашего, обязанностей, цели труда и т. п. никогда ведь ясно не поймут, а менее всего, может, то смогут понять, что для представления о моем труде является самым главным, что можно пожертвовать славой и художественной ценностью труда ради его общественных целей и — патриотических (патриотических — не так, как они банально понимают патриотизм...). Но — поступай как хочешь — и как тебе кажется лучше.

Касаемо запрашиваемой информации.

Во время взрыва революции 1830 г. у нас существовало литературное общество, но под влиянием событий его характер, естественно, изменился. Мы хотели тотчас же выступить из Вильно к восставшим. Один из наших сообщников пошел покупать пистолеты. За ним следили, он вернулся в мою квартиру, нас схватили, а он (не хочу называть его фамилию) всех выдал<sup>5</sup>. Д. [ня] 4 декабря 1830 меня арестовали, посадили под стражу, присудили сперва к смертной казни, позже — к ссылке на Кавказ в простые солдаты без выслуги<sup>6</sup>. Двоюродная сестра или кузина моей прабабки Анна Длуская была настоятельницей визиток (монашеский орден. — В. В.) в Вильно, она повлияла на к.[нязя] Долгорукого, выхлопотавшего мое освобождение от рекрутчины... Между 4 декабря 1830, а 19 марта 1832 лечился у С. Петра, С. Игнация (названия больниц. — В. В.), в пиарском (монашеский орден. — В. В.) лазарете и т. п.

Стечением обстоятельств мое освобождение привез Долгорукий 18 марта, а на д.[ень] Юзефа получил.

Что касается принудительного отъезда в г. 1863 (конец августа)<sup>7</sup>, по той причине, что многие живы и многим могло бы повредить, трудно быть слишком откровенным, а правду надлежит всегда говорить только в определенной степени.

Вследствие моих убеждений и моей натуры, могу сказать, что на протяжении всех этих лет 1860—1863 я всегда находился между молотом и наковальней, никогда полностью не мог ни на кого рассчитывать, и оказался почти в оппозиции со всеми ...

[По-разному?] обо мне судачат; чтобы снять с себя вину, все валили на мою оппозицию в „Gazecie Polskiej“ и ее влияние. Правда только, что сначала я требовал ... предоставления свободы, ликвидации цензуры.

<sup>3</sup> Крашевский, скорее всего, имеет в виду свое намерение посетить Королевство Польское, чтобы проведать свою больную жену и близких. Годом позже он обратился с петицией к Александру III, хлопоча о разрешении посетить Варшаву и Вольнь. Однако в просьбе будет отказано.

<sup>4</sup> Судя по другим, не упоминаемым здесь письмам писателя к Ходзькевичу, речь идет о том, что парижский корреспондент собирался прочесть о нем доклад для литературных кругов столицы.

<sup>5</sup> Речь идет о студенте Т. Абихте, одном из участниках организованного Ю. И. Крашевским литературного кружка.

<sup>6</sup> Подробнее об этом эпизоде биографии Ю. И. Крашевского см. [42].

<sup>7</sup> Возможно, неточность. Писатель был вынужден покинуть Варшаву (о чем в данном письме он упоминает несколько ниже) 1 февраля 1863 г. и переехать в Дрезден в связи с резко ухудшившимся отношением к нему и вообще крайне накаленной обстановкой в редакции «Gazety Polskiej». Кроме прочего, отъезд был вызван и происками критиковавшегося им варшавского наместника А. Велепольского, принудившего строптивного писателя вначале оставить работу в редакции, а через короткое время — выехать за пределы Российской империи.

Говорил им, что иначе как ценой собственной ответственности и риска собственной головой пресса доверия не завоеует ... . Сегодня это дело еще туманное, но точно то, что на меня, стоявшего в стороне и не принадлежащего ни к какому лагерю, хотя со всеми был в отношениях, все валили, что хотели. Всегда это является следствием промежуточной и независимой позиции ...

Что касается переводов. Курнатовский „Rue des Dames“ если не ошибаюсь, 26 располагает французским переводом „Из семилетней войны“. Уже напечатан „Ермола“ по-фран[цузски], „Пан Мариель“ (два издания — Париж) и — в редакции (о ужас!) газеты „Voltrive“ найдешь как бы для фельетона им посланный сокращенный перевод моих „Последних минут к.[нязя] воеводы“ ...

Из новых романов pošлю тебе (когда получу!) „Больные души“ и „Краков времен Локотка“, но ...

Кто-то писал мне недавно, что хочет переводить „Старое предание“ („*Visux fablieau*“), но сомневаюсь, будет ли оно опубликовано ...

Немцы (их точное число 17) переводят много. В Вене Гартлебер издает собрание сочинений Ю. И. К.[рашевского]. Напечатал „Козель“, „Уляну“, печатает „Сфинкса“ ... далее „Блудный сын“, „Брюль“, „Еврей“, „Третье мая“, „Куба и панночки“, много других переводят. А Зиппер переводит „Витольрауда“, посвящение которого адресовано Лонгфелло.

Москали перевели почти все романы. Недавно приобрели право перев.[одить] „Старое предание“ с иллюстрациями Андриолли<sup>8</sup>.

Навожу на тебя скуку этими подробностями, но ты такой добрый! Пусть Бог хранит для меня твое сердце. До смерти буду благодарен. Взволнован и растроган.

Твой навсегда

Юзеф [18, ед. хр. 1104].

Говоря об эпистолярном наследии Ю. И. Крашевского, нельзя не упомянуть о тех в большинстве своем не опубликованных разрозненных письмах, которые имеются среди материалов Отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника АН УССР.

Это прежде всего пять датированных 1877—1881 гг. посланий к известному библиофилу и меценату В. Баворовскому (16 VIII 1876, 29 III 1877, 25 II 1878, 31 XII 1881, б/д) [16, ф. 4, оп. 1, ед. хр. 1093/1].

Значительное число писем польского литератора содержится в составе раздела «Собрание автографов» [16, ф. 5, оп. 2] фонда Оссолинских — основателей Львовского собрания рукописей, книг, карт, разного рода деловых бумаг, памятников изобразительного искусства и пр., на базе которого в 1817 г. оформилось научное учреждение «*Ossolineum*» (см. [44]), позже — ЛНБ АН УССР. Здесь имеются письма к Г. Альтенбергу (1 VIII 1881) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 2755], В. Бэлзе (9 X 1886) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 3057], Е. Павловичу (14 IV 1870) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 2694], М. Зибликевичу (11 III 1883) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 2765], Ф. Бялоскурскому (1865) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 2976—2979], А. Клодзинскому (9 III 1849) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 2718], Я. Карловичу (9 III 1880) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 3971], В. Миловичу (18 III и 14 IV 1875) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 2729—2730], Ю. Верцинской (1885) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 2894], К. Уейскому (26 VI 1878) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 2878], издателю «Стрехи» (24 X 1877) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 2705], С. Романскому (12. III 1840) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 747], В. Полю (17 VI 1867) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 3013], Ю. Любомирскому (б/д) [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 2594], неустанов-

<sup>8</sup> Э. М. Андриолли — известный книжный иллюстратор XIX в. Иллюстрировал также роман «Мейр Езофович» Э. Ожешко, написанный под заметным влиянием «Еврей» Крашевского и приобретший общеввропейскую известность. Оценку художественной манеры Андриолли и его профессионального мастерства см. [43].

К моменту написания этих строк в России уже были опубликованы такие прозаические произведения автора, как «Будник», «Хата за околицей», «Два света», «Князь Голубь», «Сиротская доля», «Брюль», «Дети века», «История Савки», «Графиня Козель», «Ермола», «Мачеха», «Уляна», «Ужин Калиостро», «Горькая участь» и др.

ленным лицам (1876, 1883, б/д) соответственно [16, ф. 5, оп. 2, ед. хр-2893, 2897, 2925].

Подборка из четырнадцати писем к неустановленным адресатам хранится в фондах ЛНБ АН УССР как одно целое (2 II 1856, 9 VI 1869, 7 VII 1869, 8 VII 1869, 18 VI 1870, 1870, 9 XI 1873, 2 II 1876, 21 III 1876, 24 XII 1879, 26 I 1882, 3 II 1882, 1883, б/д) [16, ф. 118, оп. 1, ед. хр-142].

Собранием рукописных материалов и разного рода документов, имеющих прямое отношение к имени Крашевского, располагает также ЦГИА (г. Львов). Среди них интерес представляют прежде всего две группы источников: первая, связанная с чествованием писателя в связи с 50-летием его литературной деятельности, и вторая, освещающая его похороны. Оба эти события происходили в Кракове, оба гулким эхом отозвались в сердце польского народа.

Привлекают внимание полицейские донесения из Кракова в находившийся во Львове Президиум Галицкого наместничества о ходе подготовки и проведении силами прогрессивной общественности полувекового юбилея деятельности Крашевского-литератора. Эти торжества, равно как то, что им предшествовало, высветили всю остроту тогдашних социальных проблем и довольно резко обозначили многие акценты в политической и культурной жизни польского народа. Не случайно задолго до их начала возникла встревоженность официальных кругов. Краковская дирекция полиции спешила сообщить Президиуму наместничества, а также министерству внутренних дел свой прогноз: «Содержание программы убеждает, что юбилейному торжеству не дана политическая окраска, ... что все торжество состоится в рамках сугубо народных, без всякой политики или какой-либо международной черты. Вообще высшие сферы до сих пор не высказали желания участвовать в юбилейном празднестве, как кажется, неприязно относясь к Крашевскому из-за выпадов в его сочинениях, а точнее в на протяжении нескольких лет ежегодно издаваемых так называемых „Счетах“<sup>9</sup> против аристократии и против духовенства» [45, ф. 146, оп. 7, ед. хр. 4199 «а», л. 8—9].

Однако юбилей Ю. И. Крашевского в 1879 г., как известно, вылился во всенародное общественно-культурное событие, вышедшее далеко за рамки самых представительных юбилейных торжеств (см. [46]). Ведь на него в числе только официально зарегистрированных польских делегаций прибыло более одиннадцати тысяч участников, не говоря уже о членах многих репрезентативных зарубежных делегаций.

Среди архивных материалов, относящихся к юбилею писателя, хранится листовка польских социалистов «Воззвание» [45, ф. 146, оп. 7, ед. хр. 4199 «а», л. 18—21], текст которой был составлен членами группы Л. Варыньского в австрийской тюрьме. Социалисты приветствовали Крашевского-«Болеславиту» как автора «Счетов», утверждая при этом: «Мы способны оценить их настоящую пользу» [45, ф. 146, оп. 7, ед. хр. 4199 «а», л. 18].

В фондах упоминаемого архива содержится также копия диплома Львовского университета Франца-Иосифа I, выданного Ю. И. Крашевскому как доктору философии в связи с 50-летием его литературного творчества [45, ф. 739, оп. 1, ед. хр. 86]. Здесь же находится оригинал поздравительного адреса товарищества львовских типографских работников «Ognisko», выполненный печатным способом в три цвета на большом (56 × 78 см) красочном листе, где Крашевский именуется «наитрудолюбивым автором» [45, ф. 739, оп. 1, ед. хр. 85].

В широкую общенациональную многотысячную манифестацию, в которой «впервые... принимали участие также крестьянские делегации» [47] вылились похороны писателя 18 апреля 1887 г. Предвидя такую возможность, президент Кракова Ф. Шляхтовский еще 26 марта извещал Пре-

<sup>9</sup> Едко сатирический публицистический цикл 1866—1870-х годов, направленный против общественно-политического консерватизма высокопоставленных кругов и конкретных лиц, обрушившихся впоследствии на автора с обвинениями в пропаганде идей «революции» и «нигилизма», что, впрочем мало соответствовало его убеждениям.

зидиум наместничества: «... все же имеет под собой основания опасение, что погребальная церемония приобретет значительный размах, не соответствующий теперешней политической ситуации: уж-то в произнесении речей политического содержания, уж-то из-за сообщения обряду характера демонстрации. Эти опасения разделяют также лица и здешние умеренные круги, с которыми в этом вопросе имел возможность найти общий язык и которые вовсе воспротивились любой политической примеси к похоронам, сильно стремясь, чтобы оный ограничился религиозным актом, и возданием только почестей умершему как мужу, заслуженному на литературном поприще» [45, ф. 146, оп. 6, ед. хр. 1187, л. 472 об.]. Полицейские силы города тщательно контролировали все, что относилось к организации и проведению похорон, начиная с надписей на лентах прибывающих со всех концов Европы траурных венков и кончая цензурованием содержания надгробных речей, полный текст которых ораторы должны были представить в их распоряжение. На протяжении всех дней с 15 по 18 апреля, когда горожане и все прибывшие прощались с классиком польской литературы, дирекция краковской полиции самым подробным образом информировала о происходившем вышестоящие власти (см., например, [45, ф. 146, оп. 7, ед. хр. 4414, л. 1—2, 14—19 и др.]). 23 апреля министерством внутренних дел был составлен детальный отчет «О политической демонстрации во время похорон Крашевского Юзефа в г. Кракове» [45, ф. 146, оп. 6, ед. хр. 100/150 «д», л. 452—454, 472—497], вслед за которым появился еще один не менее красноречивый документ — «Дело о расходах на проведение похорон Крашевского Игнация» [45, ф. 165, оп. 1, ед. хр. 412, л. 1—15].

Все до сих пор сказанное вселяет уверенность, что с течением времени из забвения или полного небытия выйдут новые страницы, детали, штрихи того поистине эпохального в своей необъятности явления, имя которому Крашевский (см. [48]).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Kraszewski J. I.* Listy do redakcji «Gazety Warszawskiej». — In: *Kraszewski Józef Ignacy*. Zebr. i wstęp. W. Danek. Warszawa, 1963.
2. *Ведіна В. П.* Біля джерел критичного реалізму: (Гоголь — Крашевський-Квітка-Оснотьєненко). — Радянське літературознавство, 1984, № 4.
3. *Danek W.* Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa, 1973, s. 6.
4. *Баскаков В. Н.* Библиографическое исследование о Ю. Крашевском. — Известия АН СССР. Серия лит. и яз. Т. XXVIII. 1969, вып. 5.
5. *Burkot S.* Podróże Józefa Ignacego Kraszewskiego. — *Ruch Literacki*, 1987, № 3.
6. *Курчів П. Ф.* Крашевський і Україна. — Радянське літературознавство, 1968, № 8.
7. *Баскаков В. Н.* Крашевский и Коженевский в России. Из истории польско-русских литературных связей 1831—1863 годов. — Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1968.
8. *Szatmájer K.* Nieznane archiwaia ukraińskie o Kraszewskim. — *Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria*. T. VI. Wrocław etc., 1980.
9. Институт литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР. Отдел рукописей, ф. 40.
10. *Polski Słownik Biograficzny*. Warszawa — Kraków, 1970. T. XV/1, z. 64, s. 227.
11. *Федорук О.* Джерела культурних взаємин: Україна в творчості польських художників другої половини XIX — початку XX ст. Київ, 1976.
12. *Swierszewski S.* Charakter i cel podróży J. I. Kraszewskiego do Włoch. — *Ruch Literacki*, 1968, № 2.
13. *Kraszewski J. I.* Kartki z podróży. 1858—1954. Warszawa, 1977, s. 372.
14. *Sinko T.* Hellada i Roma w Polsce. Przegląd utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia. Lwów, 1933, s. 169—181.
15. *Vilnius — Lvovas: Kulturiniai ir moksliniai ryšiai (XIX a prim. ruse)*. Vilnius, 1989, s. 30.
16. ЛНБ им. В. Стефаника АН УССР. Отдел рукописей.
17. ЛНБ им. В. Стефаника АН УССР. Отдел литературы по искусству.
18. ЦНБ им. В. И. Вернадского АН УССР. Отдел рукописей. ф. XXIV.
19. *Zipper A.* O J. I. Kraszewskiego przekładzie «Komedji Boskiej». — *Dziennik Polski*, 1985, 14 IX.
20. *Dante w Polsce. Bibliografia przekładów dzieł jego, tudzież prac jego*. Opr. S. P. Koczorowski. Kraków, 1921, s. 22.
21. *Prejsner W.* Dante i jego dzieła w Polsce. Bibliografia krytyczna z historycznym wstępem. Torun, 1957.
22. *Горский К.* Крашевский и Данте. — В кн.: Дантовские чтения. 1968. М., 1968, с. 33.

23. *Голенищев-Кутузов И. Н.* Творчество Данте и мировая культура. М., 1971, с. 453.
24. *Danek W.* Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa, 1973, s. 477.
25. *Kraszewski J. I.* Dante. Studium nad «Komedią Boską». — Roczniki Towarzystwa przyjaciół nauk Poznańskiego, 1869, t. V.
26. *Chmielowski P.* Józef Ignacy Kraszewski. Kraków, 1888, s. 87.
27. Katalog księgozbioru rękopisów, dyplomów, rycin, map pozostałych po sp. J. I. Kraszewskim. Staraniem F. Kraszewskiego sporządził i spisał M. Pawlik. Lwów, 1888, s. 34—35.
28. *Dante A.* «Boska komedia». Tłumacz. J. Korsaka. Warszawa, 1860.
29. *Dante A.* «Boska komedia». Przekł. A. Stanisławskiego. Drukiem J. I. Kraszewskiego w Dreźnie. Poznań — Drezno — Warszawa, 1870.
30. *Kraszewski J. I., Lenartowicz T.* Korespondencja. Przygot. W. Danek. Wrocław, 1963.
31. *Kraszewski J. I.* Listy do Adama i Joanny Miłoszewskich, rodziny Langie, Walerego Eliasza-Radzikowskiego. Wrocław etc, 1966.
32. *Kraszewski J. I.* Listy do rodziny. 1820—1863. Cz. I. Kraków, 1966.
33. *Rulikowski K.* Korespondencja Kraszewskiego. Luck, 1939.
34. *Burkoi S.* Józefa Ignacego Kraszewskiego literatura dla «powszechności». — Pamiętnik Literacki, 1987, № 4, s. 3.
35. *Dobrowolska H. M.* Tytuł pracy. Opowieść O J. I. Kraszewskim. Warszawa, 1957, s. 206—207.
36. *Лунатов А. В.* Юзеф Игнатий Крашевский. 1812—1887. — В кн.: История польской литературы. Т. I. М., 1968, с. 408.
37. *Bartoszewicz K.* Korespondencja J. I. Kraszewskiego. — Przegląd Literacki, 1899, 10 VI.
38. *Danek W.* Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzny. Warszawa, 1979, s. 142.
39. ЦГИА УССР (г. Киев,) ф. 442.
40. *Kraszewski J. I.* Król chłopów. Warszawa, 1955. s. 1.
41. Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Kraków, 1968, s. 203
42. *Kajtoch J.* Spadkobiercy Filomatów. Aresztowanie Kraszewskiego. — Ruch Literacki, 1960, № 3.
43. Kraszewski o powieściopisarzach i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych. Opr. S. Burkot. Warszawa, 1952, s. 212—213.
44. *Fischer A.* Zakład narodowy imienia Ossolińskich. (Ossolineum). Lwów, 1917.
45. ЦГИА УССР (г. Львов).
46. Księga pamiątkowa jubileuszu Józefa Ignacego Kraszewskiego. 1879 r. Kraków, 1881.
47. Józef Ignacy Kraszewski. Zarys bibliograficzny. Opr. S. Stupkiewicz, I. Sliwińska, W. Roszkowska-Sykałowa. Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Kraków, 1966.
48. *Книжник А.* Куди щезли одеські замальовки І. Крашевського? — Горизонт. Одеса, 1971.



КИКЛЕВИЧ А. К.

## СЛАВЯНСКИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНЕНИЯ КАК ГРАММАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

Отрицательные местоимения (ОМ) выражают в предложении особую множественную семантику — квантификацию, поэтому доминирующим в их описании является логико-семантический подход. С логико-семантической точки зрения ОМ и обобщающие местоимения *все, всегда, любой, каждый* и другие выступают как тождественные единицы [1, с. 169]: в предложении, содержащем общее суждение, они маркируют абсолютную квантификацию, т. е. полное вхождение или невхождение (в зависимости от отсутствия или наличия отрицания предиката) референциального множества, соотносимого с тем или иным актантом, в область экстенционала предиката. М. А. Шелякин подчеркивает, что в предложениях *Никто не спит, Ничто его не интересует* и т. п. «выражается не отсутствие предметов, а отрицание у предметов обозначенных действий или несовместимость предмета и его действия» [2, с. 72]. Весьма существенно, что формой репрезентации данного отрицания выступает именно отрицательная частица при предикате. Логико-семантическое тождество отрицательных и обобщающих местоимений проявляется в двух типах контекстов: на уровне предложения и на уровне текста. Во-первых, в отрицательном предложении лексемы типа *все* и типа *ничто* могут выступать как субститутивные единицы, ср.: *Все они ничего не сказали = Никто из них ничего не сказал*. Следует, однако, оговорить, что, как справедливо отмечает И. М. Богуславский [3, с. 132], круг таких контекстов для обобщающих местоимений ограничен (ср. \* *Я всегда не пойду туда — Я никогда не пойду туда*). Во-вторых, подтверждением семантической идентичности отрицательных и обобщающих местоимений является также и кореферентность в связном тексте, например: «Если раньше власть не реагировала на критику, потому что ее *никто* не критиковал, то сейчас она делает то же самое, но потому, что ее критикуют *все*» [4, 1989, 6 IX].

Таким образом, есть все основания отнести отрицательные и обобщающие местоимения в один семантический класс — маркеров абсолютной квантификации.

Иначе выглядит отношение слов типа *все* и типа *ничто* в плане их дистрибуции: употребление ОМ в современных славянских языках сопровождается отрицанием предиката, а точнее, отрицательная частица при предикате является дистрибутивным условием введения в предложение ОМ (некоторые исключения из этого правила будут рассмотрены далее), тогда как для обобщающих местоимений наличие в предложении отрицания предиката не обязательно, ср. пол.: *Wszyscy śpią — Wszycy nie śpią — Nikt nie śpi — \*Nikt śpi*. Отношение лексем типа *все* и типа *ничто* по признаку сочетаемости с показателями негации предиката может быть квали-

фицировано как привативная оппозиция, в которой ОМ выступают как маркированный, а обобщающие — как немаркированный члены. Дистрибутивные различия отрицательных и обобщающих местоимений касаются также их сочетаемости с существительными, однако указанное выше является наиболее важным.

Следует подчеркнуть, что логико-семантическая и поверхностно-синтаксическая классификация обобщающих местоимений не совпадают и, более того, противоположны по содержанию. При этом традиционные и современные грамматические модели дифференцируют местоимения типа *все* и типа *ничто* как представителей разных грамматических классов. Так, в «Русской грамматике» местоимения *никто*, *ничей*, *некого* и другие составляют отдельный подкласс класса местоимений-существительных [5, с. 531]; ни в классе, ни в подклассе местоимений типа *все* нет. В академической «Грамматике современного польского языка» к множеству местоимений-существительных также принадлежат только ОМ, которые объединяются в группу отрицательных местоимений [6, s. 276—278]. Отрицательность — свойство, которое манифестирует класс ОМ практически во всех грамматических описаниях славянских языков и по которому ОМ противопоставляются обобщающим местоимениям. Так, среди 9 классов местоимений в академической «Грамматике современного болгарского литературного языка» выделяются отрицательные (*никой*, *никоя*, *никакъв*) и обобщающие (*всеки*, *всякой*, *всякакъв*) [7, с. 191]. Аналогичные разряды местоимений представлены в академической «Белорусской грамматике» [8, с. 135].

Базирующееся на давней грамматической традиции различие отрицательных и обобщающих местоимений до последнего времени сохраняется также в специальной литературе, например, в работах М. И. Откущицкой, которая не включает ОМ как особые отрицательные единицы в список кванторов обобщения [9, с. 57; 10, с. 8].

Различие отрицательных и обобщающих местоимений, возможно, отчасти опирается на метаязык формальной и математической логики, в котором наряду со специальными символами  $\forall$ ,  $\wedge$  для обозначения квантора всеобщности используется также местоимение *все* или *любой*, *каждый*, но не *ничто/никто* [11, с. 70; 12, с. 76; 13, с. 178; 14, с. 170; 15, s. 44; 16, s. 51]. Не исключено, что это влечет за собой восприятие *все* как наиболее «сильной» формы репрезентации абсолютной квантификации.

Выделение группы отрицательных местоименных лексем представляется в грамматических описаниях настолько естественным и бесспорным, что, как правило, вообще отсутствуют какие-либо доказательства правомерности существования такого класса с таким характеризующим свойством. Видимо, решающую роль здесь играет особая дистрибутивная природа ОМ, а именно — отрицательная ориентация их сочетаемости. Однако даже рассмотрение ОМ как дистрибутивного класса вызвало бы возражения: во-первых, речь идет не о частной классификации лексем по их дистрибутивным свойствам, а о классификации в рамках системы частей речи, которая в славянских языках не может быть сведена лишь к синтаксическим признакам (что было бы вполне приемлемо, например, для китайского). Во-вторых, поскольку объектом описания являются местоимения, частеречная специфика которых тесно связана с их лексико-семантическими характеристиками, то игнорирование этих характеристик существенно обедняет и даже искажает лингвистическую модель. Наконец, в-третьих, выделение дистрибутивного класса ОМ нарушало бы единство основания классификации, поскольку остальные разряды местоимений (личные, притяжательные, вопросительные и др.) определяются по семантическим признакам.

Впрочем, все эти возражения вряд ли уместны применительно к общепринятой в грамматиках славянских языков трактовке ОМ, согласно которой они представляют собой не дистрибутивный, а именно семантический класс, в чем, как мы увидим далее, проявляются основные разногласия их логической и лингвистической интерпретации.

Идея отрицательности ОМ, повторим, как правило, лишь деклариру-

ется, но и редкие попытки ее доказательств не могут быть признаны убедительными. Например, с учетом приведенных в данной статье логико-семантических свойств кванторных лексем как ошибочная должна быть квалифицирована такая, достаточно типичная аргументация: «Отрицательные местоимения... указывают на полное отсутствие предмета как субъекта или объекта действия» [8, с. 142]; см. также [7, с. 205]. Неверной следует признать и трактовку, в соответствии с которой *все* и *ничто* различаются «количеством референтов» [17, с. 389]. Согласно Польской грамматике, «местоимения *nikt*, *nie* сигнализируют несуществование объекта... с признаками, обозначенными в данном высказывании» [6, s. 277], что подтверждается трансформацией: *Nikt do ciebie dziś nie telefonował* → *Nie istnieje taka osoba, która by dziś do ciebie telefonowała*. Однако наличие идеи «несуществования» в семантическом толковании ОМ не дает оснований считать их отрицательными единицами, поскольку та же идея содержится в построенном по тому же принципу толковании обобщающих местоимений, ср.: *Wszyscy śpią* → *Nie istnieje taka osoba, która by nie spała*.

Идея отрицательности ОМ получает воплощение в явлении так называемого «двойного отрицания». Абсолютное большинство грамматистов сходится в том, что в современных славянских языках в предложении с ОМ дублируются как минимум две отрицательные формы: 1) форма ОМ и 2) отрицательная частица при предикате [18, с. 389; 19, с. 27; 20, с. 149; 21, с. 197; 22, с. 73] (например, *Никто не придет*). Это утверждение подкрепляется примерами «одиночного» отрицания из современных германских и романских языков (ср. нем. *Niemand kommt*) и из истории славянских языков (ср. древнерус. *Никъто же бо богатѣ Христа отъца твоего* [23, s. 153—164]).

В ряде работ [24—26] мы подвергли «двойное отрицание» критическому анализу и здесь лишь подчеркнем следующее: если предложения типа пол. *Nikt nie śpi* и содержат двойное отрицание, то не благодаря особым отрицательным формам ОМ. Двойное отрицание может быть зафиксировано только в рамках деривации *Nie* (*Ktoś spi*) → *Nikt nie śpi*, которая позволяет говорить о том, что *nikt* как маркер абсолютной квантификации является отрицанием *ktoś* как маркера относительной квантификации. Но с этой же точки зрения двойным отрицанием характеризуется и предложение *Wszyscy śpią*, рассматриваемое в рамках деривации *Nie* (*Ktoś nie śpi*) → *Wszyscy śpią*, поскольку общий квантор *wszyscy* является отрицанием частного квантора *ktoś* [27, с. 42].

Для доказательства «двойного отрицания», как отмечалось выше, приятно сопоставлять его с «одиночным». Мы также используем прием сопоставления, однако для противоположной цели — доказательства фиктивности «двойного отрицания».

Группа ОМ неоднородна. Так, в русском языке она включает *ни*-слова (*никто, ничто, нигде* и др.) и *не*-слова (*некому, негде, некуда* и др.). Русские общекванторные *не*-слова, помимо значения абсолютной квантификации, содержат значение отрицания, что наиболее отчетливо проявляется в их инославянских соответствиях, ср. бел. *няма каму, няма куды*, пол. *nie ma kogo, nie ma gdzie*, чеш. *není kam, není kde* и др. В предложении *не*-слова выступают как единая форма выражения и объема суждения (а именно — абсолютной квантификации), и качества суждения (а именно — отрицания предиката), ср.: *Не с кем было поговорить* → *Для каждого *x* верно, что с *x* нельзя было поговорить*. Семантика соответствующих *ни*-слов беднее, поскольку не включает семы отрицания, ср.: *Ни с кем нельзя было поговорить* → *Для каждого *x* верно, что с *x* нельзя было поговорить*.

Семантически неоднородны не только ОМ в целом, но и подгруппа *ни*-слов. Например, особое место в ней занимает местоимение *ничей* (пол. *niezuj*, чеш. *níčí, soblg. ничий*). В значении «никому не принадлежащий, не являющийся собственностью кого-либо» это местоимение выступает как типичная отрицательная форма, указывающая, помимо общего объема суждения, на отрицание предиката, ср. пол.: *Pies był niczyj* → *Dla każdego*



x jest prawdziwe, że pies nie należał do x. Отрицательность лексемы *niczej* дает возможность сочетать ее с отрицательной формой в сочинительной конструкции, например: «*He moe (i nicze)* это дело....» [4, 1986, 5 II]. При постановке отрицательной частицы перед предикатом в соответствии с правилом сокращения двойного отрицания в предложении [28, с. 45] последнее становится утвердительным, ср. пол.: Pies nie był niczyj → Istniał x, taki, że pies należał do x. Поскольку аналогичное сокращение «двойного отрицания» в предложениях с иными *ни-* словами не происходит (ср. Psa nie widział nikt → Dla każdego x jest prawdziwe, że x nie widział psa), то, следовательно, нет никаких оснований говорить о самом явлении двойного отрицания в этих случаях.

Впрочем, семантическая неоднородность ОМ проявляет себя не только на уровне класса и подкласса, но и на уровне отдельных лексем. Так, если исходить из толкования *niczej*, которое дано выше и которое распространено в толковых словарях, то в ряде случаев мы столкнемся с противоречащими фактами, например: «Оно состоит из множества холмиков, на которых не написаны *ничьи* имена» [4, 1989, 22 II]; «*Nie był — poza przypadkami, gdy stykał się z motłochem — powodem niczyjego zdumienia ani też współczucia*» (W. Terlecki). Если признать, что словоформа *ничьи* в первом предложении содержит отрицание, то по правилу двойного отрицания мы должны получить трансформу: → *на которых написаны чьи-либо имена*. Однако очевидно, что указанная трансформа содержит прямо противоположный смысл. Следовательно, местоимение *niczej* (и местоимение *niczyj*) в данном употреблении выступает не как отрицательная, а как положительная форма и маркирует лишь общий объем суждения. Таким образом, с точки зрения положительности/отрицательности местоимение *niczej* (и его инославянские аналоги) многозначно. Например, предложение *He нужны мне ничьи слова* может иметь две интерпретации: 1) → *Мне не нужны слова, которые никому не принадлежат* → *Мне нужны хотя бы чьи-нибудь слова*. 2) → *Мне не нужны даже чьи-нибудь слова*.

Итак, можно резюмировать, что если применительно к общекванторным *не-*словам (и их аналитическим аналогам в других славянских языках) отрицательность выступает как их категориальная грамматическая характеристика, дающая основание говорить, например, об отрицательных *не-*местоимениях в русском, то применительно к подавляющему большинству общекванторных *ни-*слов научно обоснованной представляется их квалификация как форм с усилительным или усилительно-обобщающим значением [29, с. 88—89]. И лишь для отдельных словоупотреблений (именно словоупотреблений, а не лексем!) уместна характеристика их как отрицательно-обобщающих форм (например, для употреблений *niczej*).

Данный вывод, по существу, означает, что ОМ — фиктивный класс, а точнее, класс с фиктивным характеризующим свойством. Приводимые (повторим, весьма немногочисленные) обоснования правомерности существования класса ОМ либо не имеют связи с внутренней структурой современных славянских языков, либо противоречат их логико-семантической основе.

Впрочем, последний аргумент (касающийся связи языка и логики) нуждается в уточнении. Дело в том, что многочисленные исследования показывают: логическая непротиворечивость языковых и речевых структур относительна, формальная логика лишь в определенной степени отражена в языке, логическая структура мысли — «лишь элемент смысловой организации текста» [30, с. 133]. Помимо системности, обусловленности языковых отношений логическими матрицами, языку присуща также асистемность, опирающаяся, главным образом, на «функцию языка, относящуюся к передаче наших чувств в самом широком смысле» [31, с. 112]. Асистемные тенденции связаны также с языковой игрой, с сознательным нарушением правил, ср.: «Эх, чего у нас только нет... Особенно всего» [4, 1989, 23 VIII]; пол. Pamiętaj, że dorośli każde przyzwolenie obwarowują warunkami. Pamiętaj, że jeśli nic nie masz, dorośli zechcą ci to Nic zabrać» (A. Osiecka).

Таким образом, правомерно говорить о существовании формальной

логики и лишь частично совпадающей с ней «наивной» логики естественного языка [32, с. 145]. Из этого вытекает важный для изучения ОМ вывод: подобно тому, как описание союзов было скорректировано с учетом специфической языковой логики [33, с. 270; 34, с. 177—178; 35, с. 16—17], описание ОМ должно быть также адаптировано применительно к сфере «наивной» логики. Это единственный шанс обнаружить ОМ как фактически существующий в языковом сознании семантический класс.

К такому исследованию подталкивают также примеры из художественной литературы, в том числе широко известные, например, символ смерти «Никогда» в известном стихотворении Э. По «Ворон». Ср. также: «Я не испытывал ничего, — отвечал тот неохотно, будто недовольный настойчивостью Вараввы. — Я был мертв. А смерть — это ничто» (П. Лагерквист); «Я пробовал приводить свои вычисления, избегая цифр с кружочками, то есть шести, восьми и девяти, но сразу стало ясно, что без нуля никак не обойтись. Символ „ничто“ был необходим для изображения любого положительного и рационального числа» (Л. Малерба).

Далее из формирующих «наивную» логику языка факторов будут описаны те, которые обуславливают функционирование *ни*-слов как отрицательных форм.

1. Э к с п а н с и я п л а н а в ы р а ж е н и я. Требование И. А. Бодуэна де Куртене рассматривать исследуемый предмет сам по себе и не навязывать ему чуждых категорий [36, с. 33] не всегда строго соблюдается в обыденной интеллектуальной и языковой практике человека, в процессе которой, в частности, формальные характеристики предмета (или языковой единицы) могут подавлять его содержательные свойства. В языке применительно к *ни*-словам экспансия плана выражения проявляется двояко: во-первых, восприятие частицы *ни* и включающих ее словоформ как отрицательных элементов в некоторой степени связано с фонетическим сходством (за которым скрывается и этимологическая близость) частиц *ни* и *не*. Во-вторых, можно говорить об экспансии дистрибутивной специфики *ни*-слов — их ориентации на отрицательный контекст. В этом случае функциональные (системоприобретенные) свойства языковой единицы интерпретируются как ее таксономические (системообразующие) свойства.

2. П р е д л о ж е н и я с э л л и п с и с о м. Согласно общепринятой трактовке, эллипсис — разновидность компрессии, процесса синтаксической деривации, который заключается «в устранении информационно излишних компонентов в предложении, в силу чего уменьшается его объем при сохранении прежней информации» [37, с. 27]. Важно подчеркнуть, что принадлежность эллипсиса к явлениям синтаксической деривации означает именно семантическое тождество полного и неполного вариантов предложения.

Существует и альтернативная семантическая трактовка эллиптических конструкций, которая допускает семантические различия полного и неполного предложения. Данная точка зрения основывается на том, что элиминирование словоформ в предложении происходит в определенных прагматических, психических и социокультурных условиях, которые отчасти способствуют тому, что экономия речевых усилий говорящим не нарушает содержательного восприятия речевого сообщения слушающим (ср. так называемый ситуативный эллипсис), и которые оцениваются носителями языка как существенные характеристики функционирования эллиптических конструкций. Незамещенные синтаксические позиции используются также как средство актуализации отдельных компонентов предложения, как средство преодоления избыточности языковых выражений, как форма создания экспрессивности, а также как средство монтажа столкновения смыслов в художественной, а в особенности — в поэтической речи (например, в поэтике М. Цветаевой). Поэтому интерполяция пропущенных словоформ может сопровождаться потерей, элиминированием отдельных функционально-стилистических и даже семантических свойств предложения [38, с. 141—142]. Так, предложение *Ты — мне, я — тебе* в результате интерполяции (к примеру: *Если ты окажешь услугу мне, то я окажу услугу тебе*) теряет принадлежность к определенному «типу

письма», т. е. к афористическому речевому жанру, к определенной социальной группе и определенной эпохе, а также, вероятно, лишается специфической информации, которую А. Н. Колмогоров называл информацией о гибкости языка. В отдельных случаях полный и эллиптированный варианты предложения различаются по смыслу, например: *У нее есть седые волосы* и *У нее — седые волосы* [39, с. 279]. Ср. также: «Все ярче, ярче дни за днями» (А. Фет), ср.: \**одни дни за другими днями*; «За ручкой ручку белую Малютка отряхнет» (И. Анненский), ср.: \**за одной ручкой другую ручку*; «Шура объясняет терпеливо: казак казаку рознь...» (Ю. Трифонов), ср.: \**один казак другому казаку рознь*; «...Ворует где-то старинные книги и приносит их мне штука за штукой в подарок» (В. Конецкий), ср.: \**одна штука за другой штукой*.

Среди эллиптических конструкций распространены и общеотрицательные предложения с элиминированным предикатом и сопровождающей его отрицательной частицей, например пол.: *Nic dodać, nic ująć* (В. Rutha), ср.: *Nic nie można (nia sposób) dodać, nic nie można ująć*. В таких предложениях *ни*-слова выступают как единственная форма, обозначающая, что предложение является отрицательным, и именно этой форме носитель языка приписывает отрицательное значение. Наиболее яркими в этом отношении являются примеры столкновения *ни*-слов с формами частных и общих кванторов в условиях синтаксического параллелизма: «*Może ona jest jak Hamlet — wszystko lub nic*» (В. Rutha); «*...Dla dorosłości zarezerwowane było wszystko, a dla młodości nic*» (I. Iredyński), «*A słowa oznaczają? Czasem wszystko, czasem nic*» (J. Krzysztoń); «*Wszak chcemy dochodzić raczej do czegoś niż do niczego*» (M. Radgowski).

В аналогичных условиях *ни*-слова как отрицательные единицы противопоставляются вопросительным местоимениям: «— Что мы знаем о лисе? — *Ничего!*... (И то не все...)» (Б. Заходер); «А если даже ничего не получится — *кто* мешает ему отправить всех этих спецов догнывать на лесосеках? *Никто!*» (Я. Голованов). К этой же группе следует отнести специфические (главным образом, польские) сочинительные конструкции, где эллипсис провоцирует интерпретацию *ни*-слов как особых отрицательных распространителей: «*Jego pytania wyrażały wątpliwość, nigdy niewiedzę*» (Т. Breza); «*Przy stole rozmowa skąpa i nigdy wspólna*» (Т. Breza). И, наконец, особо следует отметить устойчивые эллиптические конструкции с *ни*-словами, например: «А нервы у нас никуда, — устали мы ужасно» (И. Бунин); «*Ona na to nic*» (К. Makuszyński): «*...Siedział niby nic, pijąc cienkie tuluzańskie piwo...*» (А. Куźiewicz).

3. *Ни-слова и оценочная семантика*. Отличительной особенностью ОМ, как было показано, является их устойчивая отрицательная дистрибуция, а также их эксплицитность в конструкциях с эллипсисом. Функциональная характеристика *ни*-слов, таким образом, тесно связана с конструктивными и семантическими свойствами общеотрицательного предложения, поэтому в языковом сознании происходит естественный перенос значения целого предложения (а это — антидизъюнкция, т. е. отрицание возможности вхождения хотя бы одного индивида рассматриваемого множества в область предиката [40, с. 21]) на маркер абсолютной квантификации. Результатом этой своего рода платы, которой *ни*-слова поощряются за верность предложению, является их вторичная семантика, которая указывает не на отношение *ни*-слов к классу рассматриваемых индивидов, а на их отношение к классу индивидов в экстенционале предиката. Эта семантика носит оценочный характер. С одной стороны, *ни*-слова противопоставлены лексемам, репрезентирующим положительную высокую степень интенсивности признака (*много, часто* и др.), например: «В цвете лица граждан — *многое*. В концепции — *ничего*» [41, 1989, № 2]; «*Nadzieją żyje wielu, bez nadziei nikt*» (К. Bunsch). С другой стороны, *ни*-слова положительно коррелируют с лексемами, которые выражают низкую интенсивность признака, ср.: *Он это делает всегда, по крайней мере — часто — \*Он это делает всегда, по крайней мере — редко; Он этого никогда не делает, по крайней мере — делает это редко — \* Он этого никогда не делает, по крайней мере — делает это часто*. Ана-

лиз данных сочетаний дает возможность построить градацию оценочных значений кванторных единиц (по мере уменьшения объема референциального класса в области экстенционала предиката): рус. *всегда* → *часто* → *редко* → *никогда*; *все* → *многие* → *немногие* → *никто*;

пол. *zawsze* → *często* → *rzadko* → *nigdy*; *wszyscy* → *liczni* → *nieliczni* → *nikt*.

Обобщающие местоимения выражают в данных градуальных цепочках положительную, а отрицательные — отрицательную исчерпанность признака (например: *всегда* — 'максимально часто', *никогда* — 'максимально редко').

Наличие у кванторных лексем данных оценочных значений подтверждается их лексическими дериватами: семантика лексем, восходящих к обобщающим местоимениям, включает семы полноты, тотальности, предельности, лексемы же, образованные от ОМ, содержат идеи пустоты, незначительности, отсутствия предмета или признака. Ср., с одной стороны, *вселенная, всеобщий, всесторонний, повседневный, всегдашний, powszechny, wszechstronny, wszechświat, wszechmoc, rozpowszechnienie*; с другой стороны, *ничтожный, нищета, ничтожность, ничкемность, никудышный, уничтожить, nicósć, znikać, znikomość, zniszczyć, unicestwienie*.

4. *Н и-с л о в а* в у т в е р д и т е л ь н о м к о н т е к с т е. На примере местоимения *ничей* (см. выше) мы убедились, что одна и та же кванторная лексема способна выступать в двух противоположных значениях — положительном и отрицательном. Подобные факты использования *ни-слов* для современных славянских языков достаточно типичны. Функционирование *ни-слов* с отрицательной семантикой наиболее отчетливо наблюдается в утвердительных предложениях, которые, однако, составляют очевидное меньшинство синтаксических контекстов ОМ. Приведем несколько иллюстраций: «На нем в тот миг стоял *никто*» (В. Хлебников); «Он сыт *ничем*, живет *нигде...*» (Б. Ахмадулина); «Надоело критиковать ведомства... за скверную технику и каналы в *никуда*» (Ю. Черниченко); «*Spostrzegł wówczas, jak ...skierowała oczy nigdzie*» (S. Lem); «*Nic z głośników mówi do niczego o niczym*» (Т. Рóżewicz); «*Więc opowiadam, że lepszy rydz niż nic*» (М. Стык).

Общим признаком большинства ОМ, входящих в утвердительные предложения, является выражаемая ими идея пустоты, онтологического вакуума или, по выражению И. Вахека [42, s. 50], отрицательной действительности. Ср.: «...Нужно было пройти через огромную кухню всей этой квартиры, где я, долго вытирая ноги, сделав тихое лицо, говорил *никому*: „Здравствуйте...“» (Н. Булгаков), где *говорил никому* = *говорил в пустоту, отсутствующему адресату* (в комнате никого не было).

Семантические и дистрибутивные особенности *ни-слов* в утвердительном предложении достаточно разнообразны и специально рассмотрены нами в работе [43].

В данной статье описаны логико-семантические характеристики обще-кванторных ОМ, которые получают определенность в двух принципиально различных областях: с одной стороны, в системах формальной и математической логики, которые частично отражены в естественном языке и которые четко разграничивают семантические функции терминов, предикатов, кванторов и пропозициональных связей (включая отрицание), и, с другой стороны, в системе «наивной» логики, для которой характерна синкретическая интерпретация семантических уровней предложения и соответствующих им единиц.

Учитывая эти особенности языкового сознания, проявляющиеся в функционировании ОМ, а также наличие специфических утвердительных конструкций с *ни-словами*, можно констатировать, что в современных славянских языках отсутствует особый класс отрицательных местоимений как единиц с постоянным отрицательным значением. Следует, с нашей точки зрения, говорить лишь о классе местоименных лексем, которые относительно свободно совмещают в себе положительное и отрицательное значения.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кондаков Н. И. Логика. М., 1954.
2. Шелякин М. А. О семантической структуре отрицательных местоимений русского языка и происхождении конструкций с непарным отрицанием. — Уч. зап. Тартус. гос. ун-та, вып. 579. Вопросы становления и развития языковой системы. 1981.
3. Богуславский И. М. Отрицание в предложениях с обстоятельствами в русском языке. — In: Studia gramatyczne. Wrocław etc., 1978.
4. Литературная газета.
5. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
6. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa, 1984.
7. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. София, 1983.
8. Беларуская граматыка. Т. I. Мінск, 1985.
9. Откупщикова М. И. Семантическая классификация местоимений (разряд кванторных). — В кн.: Лингвистические проблемы функционального моделирования речевой деятельности. Вып. 4. Л., 1979.
10. Откупщикова М. И. Местоимения современного русского языка в структурно-семантическом аспекте. Л., 1984.
11. Клини С. К. Введение в метаматерику. М., 1957.
12. Клаус Г. Введение в формальную логику. М., 1960.
13. Чарняк Ю. Умозаключения и знания. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 12. М., 1983.
14. Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981.
15. Stanosz B. Wprowadzenie do logiki formalnej. Warszawa, 1985.
16. Paskiewicz K. Logika ogólna. Warszawa, 1986.
17. Мечковская Н. Б. Различия между системами местоимений в словенском и восточнославянских языках. — In: Sodobni slovenski jezik, književnost in kultura, 8. Ljubljana, 1988.
18. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.
19. Кржишкова Х. К вопросу о так называемой двойной негации в славянских языках. — Slavia, 1968, № 1.
20. Падучева Е. В. О семантике синтаксиса. М., 1974.
21. Saloni Z., Swidziński M. Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa, 1985.
22. Вѣтов В. По въпроса за отрицателните изречения в българския език. — Език и литература, 1987, № 5.
23. Fałowski A. Gradacyjne wyrażenia porównawcze z negacją w języku staroruskim i starorusyjskim. — Studia Rossica Poznaniensia, XVIII. Poznań, 1986.
24. Киклевич А. К. Польскі злучнік *ani* з дзяхранічнага і сіххранічнага пункту гледжання. — Вестн. Белорус. ун-та. Сер. 4. 1990, № 3.
25. Киклевич А. К. К семантической типологии общекванторных местоимений. — В кн.: Русские местоимения: Семантика и грамматика. Владимир, 1989.
26. Киклевич А. К. Двойное отрицание: «за» и «против» (в печати).
27. Киклевич А. К. Деривационные отношения в системе общих и частных кванторов. — В кн.: Синтаксические структуры в номинативном и деривационном аспектах. Омск, 1988.
28. Гетманова А. Д. Отрицание в системах формальной логики. М., 1972.
29. Бондаренко В. И. Отрицание как логико-грамматическая категория. М., 1893.
30. Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка. М., 1984.
31. Будагов Р. А. Филология и культура. М., 1980.
32. Топоров В. Н. О некоторых предпосылках формирования категории притяжательности. — В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М., 1986.
33. Ван Дейк Т. А. Вопросы прагматики текста. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978.
34. Мак Коли Дж. Логика и словарь. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 14. М., 1983.
35. Санников В. З. Русские сочинительные конструкции (Семантика. Прагматика. Синтаксис). М., 1987.
36. Бодуэн де Куртене И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963.
37. Мурашин Л. Н. Основы дериватологии. Пермь, 1984.
38. Karolak S. Interpolacja, interpretacja i analiza syntaktyczna. — Biuletyn PTJ. 1968, XXVI.
39. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976.
40. Киклевич А. К. Соединительный союз *ни...ни* с деривационной точки зрения. — В кн.: Деривация в речевой деятельности (языковые единицы). Тезисы научно-теоретической конференции. Пермь, 1988.
41. Сельская жизнь.
42. Vachek J. Obecný zápor v angličtine a v češtině. — Příspěvky k dějinám řeči a literatury anglické, VI. Praha, 1947.
43. Киклевич А. К. Отрицательные местоимения в утвердительном предложении. — Филологические науки, 1990, № 5.



## ИМПЕРФЕКТ В ЧАКАВСКИХ ГОВОРАХ ОСТРОВА ПАГ

§ 1. О распространении, морфологии и семантике имперфекта в чакавских говорах относительно мало известно. В единственной существующей до сих пор обзорной статье о чакавском имперфекте Йосип Хамм, основываясь частично на собственных наблюдениях, частично на опубликованных источниках разной полноты и давности, заключает, что, хотя формы имперфекта еще можно встретить «от Истрии до Корчулы», «обычное, продуктивное употребление» имперфекта встречается только внутри треугольника Дубашница (на острове Крк) — Сусак — Новаля (на острове Паг) [1, s. 116, 122]<sup>1</sup>.

Предположение Хамма об употреблении имперфекта еще в начале шестидесятых годов далеко за пределами вышеупомянутого треугольника кажется необоснованным. За исключением форм вспомогательного глагола условного наклонения, которое нельзя отождествлять с имперфектом, из приводимых Хаммом примеров, записанных в это время, только несколько форм с островов Ист, Молат и Пресуда, расположенных сравнительно недалеко от Пага, относятся к говорам указанной области. Есть признаки, что во многих районах «между Истрией и Корчулой», например, на острове Црес<sup>2</sup>, уже в конце девятнадцатого века не оставалось следов имперфекта. Если обратиться к материалу Хамма, собранному им в «треугольнике» Дубашница — Сусак — Новаля, можно согласиться с автором, что в этой зоне имперфект, хотя и в разной степени, был еще живым. Однако ясно, во-первых, что количество наличных данных об имперфекте ограничено, во-вторых, что существуют местные различия в его образовании и значении, так что интересно было бы собрать больше материала из разных «подзон», насколько это, ввиду быстрого исчезновения имперфекта, еще возможно. Данная статья посвящена южной вершине треугольника, то есть северной части острова Паг, от Луна до Новаля (включительно).

§ 2. На острове Паг я побывал в 1985 и 1987 гг. Я посетил следующие места (с севера на юг): Лун, Старую Новалю, Новалю, Зубовичи, Метайну, Колан, городок Паг и Кошлюн<sup>3</sup>. Формы имперфекта встречались

Хоутзагерс Хюбрехт Петер — д-р филол. наук, доцент кафедры славянских языков и литератур Гронингенского государственного университета (Нидерланды).

<sup>1</sup> Строго говоря, в этот участок входят и Лошинь, и значительная часть Цреса, но из статьи ясно, что автор, за исключением деревни Вели Лошинь на самом юге Лошиня, не причисляет эти два острова к зоне, в которой имперфект встречается еще в «обычном, продуктивном» употреблении.

Здесь я воспользуюсь случаем выразить благодарность В. П. Барентсен-Орлянской за корректуру русского текста статьи.

<sup>2</sup> Хотя с 90-х годов прошлого века остров посетил ряд диалектологов, в публикациях нельзя найти ни одного примера на употребление имперфекта. О говорах Цреса см. работы Хоутзагерса [2; 3; 4]. В первой статье дается обзор диалектологических описаний говоров этого острова.

<sup>3</sup> О синхронной и диахронной фонологии и морфологии говоров Пага см. [5]

исключительно в Луне (Л), Старой Новале (СтН) и Новале (Н). Совершенно ясно, что в Новале и Старой Новале процесс вымирания имперфекта зашел значительно дальше, чем в Луне. По личному опыту я знаю, что в Новале существует довольно резкая граница между поколением, еще употребляющим имперфект (в 1985 г. — лица старше 70 лет), и поколением, уже не употребляющим его, и что носители говора это осознают: местные жители, желая познакомиться меня с подходящими информантами, принимали в расчет только тех, кто еще спонтанно употреблял формы *užadijahu* и *užadijahoto* (Н) 'они/мы имели обыкновение' (имперфект). Если же ограничиться поколением лиц старше семидесяти лет, то будет заметна существенная разница между Новалей и Луном в частоте употребления имперфекта: в обеих деревнях я разговаривал с двумя женщинами в возрасте от 72 до 76 лет, причем на одни и те же темы. В Новале я услышал 10 разных форм имперфекта от 7 глаголов за 5 часов разговора, в Луне 120 разных форм от 85 глаголов за 2 часа <sup>4</sup>.

§ 3.1. В моем материале нет примеров на второе лицо единственного числа и чрезвычайно мало примеров на первое лицо единственного числа и второе лицо множественного числа. Это объясняется значением имперфекта (обычное действие или обычная ситуация в прошлом), отношениями между разговаривающими и условиями и темой разговора. Если кто-то рассказывает приезжему, с которым он на «вы», о жизни в своей деревне, в старые времена, можно ожидать больше форм со значением 'делалось', 'было', 'мы делали', 'мы были', '(они) делали', '(они) были', чем со значением 'я делал(а)', 'я был(а)', 'ты делал(а)', 'ты был(а)', 'вы делали', 'вы были'. Окончания имперфекта следующие:

1. л. ед. =h	1. л. мн. =homo
2. л. ед. ?	2. л. мн. =hote
3. л. ед. =še	3. л. мн. =hu

Имперфект образуется при помощи суффикса -а- или -ја-, от глаголов обоих видов, в большинстве случаев от основы настоящего времени. Ударение или на основе, или на суффиксе. Оно никогда не падает на окончание. Например <sup>5</sup>: *nōsah* 'носить', *govōraše* 'говорить', *īdjahomo* 'идти', *rosijahote* 'посеять', *hōdjahu* 'ходить' (Л).

§ 3.2. Как правило, имперфект образуется от основы настоящего времени <sup>6</sup>, с сохранением акцентуации: если ударение в настоящем времени на основе, в имперфекте место и количество акцента не изменяются, если же ударение в настоящем времени на окончании, то в имперфекте оно падает на суффикс, причем предударные долготы сохраняются. Под ударением суффикс имеет долгий гласный <sup>7</sup>. Если глагол в настоящем времени спрягается по образцу -ān/-an, -āš/-aš, имперфект имеет суффикс -а-, например, *šćešāše* 'вычесать', *dāvaše* 'давать', *kōrahu* 'копать', *sīrahotō* <sup>8</sup> 'сыпать' (Л). Если основа настоящего времени относится к другому типу спряжения, выбор между суффиксами -а- и -ја- зависит от конечного гласного основы: -а- имеют основы на -s-, -r-, -k-, -g- <sup>9</sup> или небный со-

<sup>4</sup> В Старой Новале я записал 4 разные формы имперфекта от 3 разных глаголов за один час разговора с восьмидесятилетней женщиной. Это относительно больше, чем в Новале, но и информант был старше. Вообще же эти цифры недостаточны для статистических целей.

<sup>5</sup> В переводе на русский язык изолированных форм имперфекта дается инфинитив соответствующего сербскохорватскому оригиналу вида.

<sup>6</sup> В глаголах с основой на заднебный согласный типа *gēc* 'сказать', 3 л. ед. наст. вр. *gēē* (Н), имперфект (напр. *gēkahoto* Н, Л) образуется от непалатализованной основы, встречающейся в прош. вр. и (в Луне) в 3 л. мн. наст. вр.: *gēkli* (Н), *gēkū* (Л), ср. *gēū* (Н). Остальные примеры, найденные в моем материале: *postrigāše* 'постричь', *vīgahu* 'бросить' (Л).

<sup>7</sup> Три формы имперфекта в моем материале имеют краткий суффикс: *se bojāhu* 'бояться', *bešljahoto* 'чесать', *kalāše* 'опустить' (Л).

<sup>8</sup> Образование наст. вр. этого глагола возможно по двум образцам: *sīra* (Н), *sīrlje* (Л). Можно предположить, что в обеих деревнях существуют оба варианта.

<sup>9</sup> В моем материале нет примеров с основами на -z- и -h-.

гласный, например: *ponesâh* 'понести', *mîsahu* 'месить', *nabêraše se* 'собирать', *odmôraše* 'отдохнуть', *rekâhu* 'сказать', *postrîgâše* 'постричь', *stêžaše* 'стягивать', *paučaše* 'научить', *zavgûcaše* 'нагреть', *zgdôjaše* 'взрас- тить', *pošâljahomo* 'послать' (Л). Остальные основы (на -v-, -b-, -p-, -d-, -t-, -l-, -n-<sup>10</sup>) имеют -ja-<sup>11</sup>, например: *pargâvjaše* 'сделать', *zagrâbjaše* 'за- хватить', *kûrjaše* 'купить', *prêdjâše* 'прясть', *čîšcahu* 'чистить', *plêsâ- homo* 'плести', *obêljaše* 'побелить', *ôstanjah* (с неправильным ударением) 'остаться', *čînjâhu* 'сделать' (Л).

§ 3.3. Несколько форм в моем материале нельзя объяснить приведен- ными выше правилами. Два глагола образуют имперфект от основы инфинитива, два других могут образовать его от обеих основ: *zvâše* (Л), *zvâhomo* (Л, Н) 'называть', *poslôvahu* 'работать'<sup>12</sup> (Л), *zaklâše* (Ст.Н) / *zakôlja- še* (Л) 'заколоть', *stâhu/stojâhu* 'стоять, жить' (Л). Форма *spraše* 'спать' (Л) образована или от основы инфинитива, или от основы настоящего вре- мени с суффиксом -a- вместо -ja-.

Как везде в славянских языках, глагол 'быть' имеет особые формы им- перфекта: *bîjaše* (Л, Н), *bîjahu* (Л, Ст.Н; <\*bêaše, \*bêaxo). В моем мате- риале имеется один пример на вторичное образование имперфекта этого глагола: *bûdjaše* (Л). Эта форма, возможно, имеет модальный — напри- мер, потенциальный — оттенок.

Имперфект глаголов *dât* 'дать' (Ст.Н) и *imât* 'иметь' (Н) образуется от вторичной основы *dad-*, *imad-*<sup>13</sup> при помощи суффикса -ija-: *dadîjaše*, *imadîjahu* (Л, ср. *imâjahu* Ст.Н). Формы *užadîjahu* 'иметь обыкновение' (ср. 3 л. ед. наст. вр. *užâ* и прош. вр. *užâlî* Н) и *se rodîjahu* 'родиться' (ср. *se rôdjaše* Л) объясняются аналогией с глаголами *dât* и *imât*.

§ 4.1. В говорах острова Паг имперфект выражает узуальность в прош- лом действии или ситуации, обозначаемой глаголом. Например<sup>14</sup>:

1. *Tô mî zvâhomo šmûrî*. 'Это мы называли *šmûrî* (небольшие коры- та)'. 2. *Prîja se je svê na môtiki kopâlo, dva pûta: jedân pût kôpahu ljûdi ra čînjâhu nakô nî kûpi, a drûgi pût ih razvaljîvahu*. 'Раньше всё копали мотыгой, два раза: первый раз копали и вот так набрасывали кучи, второй раз их разваливали'. 3. *Več nôsah a jôš san dojîlila*. 'Уже беременная, я еще кормила грудью ребенка'. 4. *Se vôliman onô dâvaše žêrat*. 'Этим кормили волов'. 5. *Starînsko dôba van ljûdi poslôvahu do mrâka, i u mrâkû dôc dôma, i ženâ paricîvât vičêru i skûpit se famêljica i molît, ne îdjaše se prîja jîs nego molît*. 'В старые времена люди работали до темноты, в темно- те приходили домой, хозяйка готовила ужин, семья собиралась и моли- лась, не садилась за стол не помолвившись'. 6. *Sâmo jenâ rûkâ, mêljaše i sîraše*. 'Одной только рукой мололи и сыпали (зерно)'. 7. *Vakô se okrî- çaše i vakô se stêžaše, vakô se okrîcaše...* 'Так вертели и так тянули, так вертели...' (речь идет о прядении). 8. *Onâ žênske mîsahu pogâče* 'Тогда женщины месили лепешки'. 9. *I onâ vretenô i onâ se prêdjâše*. 'И тогда (брали) веретено и начинали прясть'. 10. *Za vô se mî smîjâhomo* 'Над этим мы смеялись'. 11. *Kozû se imadîjaše, onâ se imadîjaše svojê mlîkô*. 'Тогда (у каждого) была коза, было свое молоко'. 12. *Kadî drâ stâhu na dvôgû*. 'Во дворе, где были дрова'. Данные примеры показывают, что в зависимости от контекста и лексического значения глагола, форма им- перфекта может обозначать повторяемое событие или действие (1—10) или постоянную ситуацию (11, 12), характерную для обстоятельств, вре- мени или лиц, о которых идет речь. Чаще всего употребление имперфекта создает контраст между прошлым и настоящим: «узуальность в прошлом» обычно означает и «неузуальность в момент речи»<sup>15</sup>.

<sup>10</sup> У меня нет примеров с основами на -m- и -f-.

<sup>11</sup> Исключения: *paralahomo* 'зажечь', *rôbnahu* се 'вылупиться'.

<sup>12</sup> Форма *poslôvahu* образована от основы инфинитива с акцентуацией настоящего времени. Очень возможно, что данная форма представляет правильное образование имперфекта у глаголов типа -ovat-, -ûjen-. Глаголов этого типа в говорах Пага мало и данный пример, к сожалению, единственный в моем материале.

<sup>13</sup> Нет примеров на имперфект от глагола *znât*. В Луне основа *dad-* также встре- чается 3 л. мн. наст. вр.: *dâdu* (ср. *dâju* Н).

<sup>14</sup> Все примеры на употребление имперфекта в § 4.1 и 4.2 записаны в Луне.

<sup>15</sup> Ср. контрастный эффект имперфекта в древнерусском, см. [6, р. 58].



Я не встретил форм имперфекта с условным значением. Имперфект, особенно несовершенного вида<sup>16</sup>, в рассматриваемых здесь говорах по своему значению более «специализирован», чем в других современных или древних славянских языковых системах. С другой стороны, имперфект является только одним из средств, которыми можно обозначать обычные обстоятельства или действия в прошлом. Для этой цели, кроме имперфекта, говор располагает инфинитивом, безглагольным предложением, конструкцией типа *užali* 'имели обыкновение' (Н) + инфинитив, конструкцией типа *bimo(bîli)* 'мы бы...' (Л) + причастие на -1 и сложным прошедшим<sup>17</sup> (см. примеры 2, 3, 5, 9, 14, 17—21, 23, 26). Изобилие средств выражения «узualityности в прошлом», возможно, является немаловажным фактором, влияющим на процесс выхода имперфекта из употребления.

§ 4.2. Все формы имперфекта, данные в предыдущем параграфе, относятся к несовершенному виду. Однако перфективный имперфект так же употребителен, как и имперфективный: из 195 форм имперфекта в моем материале 93 образованы от совершенных основ. Все эти формы перфективного имперфекта относятся не к ситуациям, а к действиям или событиям. Действие или событие, обозначаемое перфективным имперфектом, приводит к смене ситуации, которая, в свою очередь, воспринимается как «звено в цепи событий»<sup>18</sup>. Общее значение имперфекта — «узualityность в прошлом» — при этом сохраняется: оно в совершенном виде чаще всего интерпретируется как повторяемость цепи событий в целом. Например: 13. *Kad dôjdjaše* (сов). *Andjelova, jer imamo crkivu Svetoga Andjela, ondâ mladîci na dvôr dâske zabîjahu* (сов). *ondâ tânci dôjdjahu* (сов). 'Когда приходил ангелов день (ведь у нас церковь Святого Ангела), тогда молодые люди во дворе сколачивали доски и начинались танцы'. 14. *Dôjdjaše se* (сов.) *ot poslâ, skûhaše* (сов.) *se zelje, nâvečer zdëlu nasrëdu, vřc vînâ i svâ famëlja oko stolâ*. 'Приходили с работы, готовили овощи, вечером (ставили) блюдо в середину (стола), кувшин вина и вся семья (садила) за стол'. 15. *A jâ ponesâh* (сов.) *obëdi, veç ôstanjah* (сов.) *kopât*. 'Я им приносила обед и оставалась копать'.

Формы имперфекта в предложениях (13—15) относятся к повторяемым и каждый раз следующим друг за другом событиям. Совершенным видом выражается завершенность и последовательность отдельных процессов из общего ряда, а имперфектом — цикличность, т. е. повторяемость самого ряда процессов<sup>19</sup>.

В примерах (16—18) имеется только по одной форме имперфекта, но и здесь можно сказать, что действия, обозначенные перфективным имперфектом, являются «звеньями в цепи событий»: они создают условия для дальнейшего хода событий, хотя этот дальнейший ход событий выражается не имперфектом, а другими средствами.

16. *I ondâ oni mâli kad se pôchnu* (сов.), *ond van je čakôd za vîdit*. 'И тогда, когда выдупливались эти маленькие, это зрелище!' (Информант здесь переходит с прошедшего на настоящее время). 17. *Ondâ sûhe lazânje uçînjahomo* (сов.), *ondâ se je kûhalo lazânje*. 'Тогда мы делали сухие лазани (макаронное изделие), и тогда мы их варили'. 18. *Vîla mu jenâ hêr, još ovdë u škôlu hodila u Novâlju*. *Ondâ kada dôdjaše* (сов.) *posle pôdne mu je okopâla*. 'У него была одна дочь, она еще тут в школу ходила, в Новалю. Когда она днем возвращалась из школы, она для него копала'.

<sup>16</sup> Значение перфективного имперфекта в большинстве известных мне описаний довольно близко к излагаемому мною ниже значению этой формы, хотя на Чаге я не встретил форм имперфекта с модельным значением — что может быть случайным (ср. [6; 7, p. 167—186; 8; 9, с. 111—178; 10; 1; 11]).

<sup>17</sup> Имеется в виду причастие на *l* + вспомогательный глагол. Сложное прошедшее, конечно, само по себе не выражает узualityности, но из большинства контекстов совершенно ясно, идет ли речь об узualityном процессе или нет.

<sup>18</sup> По мнению некоторых лингвистов, представление процесса как «звена в цепи событий» является инвариантным значением совершенного вида (см. [7, p. 12]). В анализе Барентссена так называемая «секвентная связь» представляет собой один из трех компонентов — иерархически высший — общего значения совершенного вида в современном русском языке ([12]; см. также [13]).

<sup>19</sup> Ср. «кратно-парный» и «кратно-цепной» типы у Маслова [9, с. 120—130].

Было бы недоразумением заключить на основании вышесказанного, что возможность обозначения повторяющегося цикла последовательных событий была предоставлена только перфективному имперфекту. Из некоторых приведенных выше примеров (2, 9) видно, что для этой цели употребляется и несовершенный вид. Выбор несовершенного вида в таких контекстах может иметь разные причины: действия, выраженные имперфектным имперфектом, или не следуют немедленно друг за другом (2), или являются последними в «цепи», на них (а не на их результате), так сказать, «кончается повествование» (9 и, ниже, формы *měljaše* и *činjaše* в примерах 22 и 23). Как обычно в случаях аспектной конкуренции, мотивы для употребления того или другого вида могут быть довольно тонко нюансированы, и для их полного разъяснения требовалось бы значительно больше материала.

В сочетаниях имперфектного и перфектного имперфекта в одном контексте чаще всего встречается известное из других славянских языков и глагольных форм «распределение ролей» видов в наррации: совершенные формы «двигают повествование вперед», в то время как несовершенные формы или описывают «фон», или обозначают сопровождающие, обычно более продолжительные процессы. Например: 19. *One donesâhu (сов.) nap ljuđi z brodiman, one pēke prodāvāt i one... «čirnje» smo mi zvāli, i ondā onđ... .. vřgaše (сов.) na ne drva, na on plamik i ondā se nō zavřučaše (сов.) i ondā se nō lipo vakđ z džegon raspřečaše (сов.) šđto, bijahu (несов.) tiku le teplē i pomečaše (сов.) i nāmo i ondā one pēke pokrīt, jāki krūsi su ono bīli.* (Речь идет о чугунных колпаках (*pēka* или *čirnja*), которыми прикрывали хлеб, когда его пекли в очаге). 'Нам их привозили на кораблях, эти колпаки, на продажу и те ... мы их называли «čirnje», и тогда это ... бросали на дрова, на огонь, и тогда это накалялось и кочергой как следует вот так вот разгребали под ним (угли), угли горячие были, раскладывали там (хлебы) и тогда закрывали эти колпаки, это был крепкий хлеб'. 20. *I ondā se učinjaše (сов.) onē gūstē, mi zvāhomo (несов.) ovakđ drūgō «kōrice», ondā bi vam bilo to se posđljaše (сов.) i ondā bimo to bili zimi na krūhu jili.* 'Тогда готовили те густые, мы это называли по-другому: «kōrice», тогда это солили и зимой ели с ними хлеб'. 21. *Ovdē su kūzu imāli i dōdjahu (сов.) prespāt na bārnjak, dōdjahu (сов.) ovdē k noći i bit božićni blāgdani ovdē, i ovdē in kōnobe bijahu (несов.), oli in vīnograd bijaše (несов.) jūsto vāmo blizu i ondā držahu (несов.) vīnđ vāmo i dōdjahu (сов.) zimat vīnđ...* 'Здесь у них был дом и они приходили в Сочельник ночевать, к ночи приходили сюда, чтобы проводить здесь рождественские дни. Здесь у них были погребя или виноградник, тут рядом, и тогда хранили свое вино здесь и приходили сюда брать вино...'. 22. *Vakđ se okřetaše (несов.) i ondā se zagřabjaše (сов.) i ondā se stāvjaše (сов.) u grđt i mēljaše (несов.).* 'Так вертели и тогда черпали (зерно) и сыпали его в отверстие в жернове и мололи'. 23. *I ondā bijahu (несов.) od drīvlja, i ondā ovakđ se mēljaše (несов.), hōdjahomo (несов.) đkolo, trī-četire su bile rāšpe, i za njiman se hōdjaše (несов.) i mēljaše (несов.), okrīčaše (несов.) sve, onđ se speštāše (сов.), i ondā jedna vřićica, bijaše (несов.) isto od onōga... bijaše (несов.), vřićica i ondā činjahu (несов.) i vřūcu kuhānu vđdu; za polnočōn se stat i noći se tō čijaše (несов.).* 'И тогда были эти деревянные..., и тогда мололи, так, мы шли вокруг, три или четыре бруса были, и мы шли за ними, мололи, вертели, это размалывалось, и тогда (брали) мешок, он тоже был из этого самого..., мешок и тогда кипятили воду; за полночь вставали и ночью это делали'. 24. *Ondā se kūpjaše (сов.) ot kōz one mišine i onda vā ne mišine se stāvjaše (несов.) ovd vīno da se uređjaše (сов.), znāte, onu kōžu, vo se post-rīgāše (сов.) vūnu i tō nan donesâhu (сов.) ljuđi od gđri ot planīne za prodāvāt i ondā se tō porēdjaše (сов.) i va nōmu se gōnjaše (несов.) i pōsli su se ponovile bile vřīce, zvāhomo (несов.) «vřīce».* 'Тогда мы покупали эти козышкурки и тогда эти шкурки наполняли этим вином, чтобы привести в порядок, знаете, эту кожу, остригали шерсть, и это нам привозили сверху, с гор, на продажу, и тогда приводили это в порядок и возили в этом, а потом их заменили мешками, мы их называли «vřīce»'. (О формах *měljaše* (22) и *činjaše* (23) см. выше).

В примере 24 обе несовершенные формы — *stāvjaše* и *gōnjaše* — яв-

ляются в каком-то смысле «последними звеньями в цепи событий». Повествование начинается с покупки шкуры. После *se stāvjaše ovð vīno* 'наполнялось этим вином' упоминается цель наполнения шкуры вином, и повествование начинается заново с периода до покупки шкуры. Последнее действие в этой второй цепи — *gõnjaše*. Со слов *i rõsli* рассказывается о более позднем периоде жизни рассказчика <sup>20</sup>.

В следующем примере имперфект несовершенного вида описывает обычную ситуацию, а имперфект совершенного вида обозначает узуальное действие, положившее ей конец.

25. *Dokle dõdjaše* (сов.) *põva hrãnã, bījaše* (несов.) *õskudno*. 'До того как стали привозить современную пищу, скудно было'. Следует заметить, что речь здесь не идет о повторяющемся цикле <sup>21</sup>.

Во встречающихся в моем материале формах имперфекта от совершенного глагола *гёс* 'сказать' отсутствует изложенное выше специфическое значение перфективного имперфекта. Например: 26. *Jũtro ranīje rõci, na «mãle mīse», mi rekãhomo*. 'Утром мы рано отправлялись на «мессы без пения», как мы говорили.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Hamm J.* Čakavski imperfekt.— In: Inšićev zbornik. Zagreb, 1963.
2. *Houtzagers H. P.* Accentuation in a few dialects of the island of Cres.— *Studies in Slavic and General Linguistics*, 2. Amsterdam, 1982.
3. *Houtzagers H. P.* Vowel systems of the čakavian dialects spoken on Cres and Lošinj.— *Zbornik za filologiju i lingvistiku*, 27/28. Novi Sad, 1984—1985.
4. *Houtzagers H. P.* The čakavian dialect of Orlec on the island of Cres. (= *Studies in Slavic and General Linguistics*, 5). Amsterdam, 1985.
5. *Houtzagers H. P.* On the phonology and morphology of the čakavian dialects spoken on the island of Pag.— *Dutch Studies in South Slavic and Balkan Linguistics* (= *Studies in Slavic and General Linguistics*, 10). Amsterdam, 1987.
6. *Schooneveld C. H. van.* A semantic analysis of the Old Russian finite preterite system. 's Gravenhage, 1959.
7. *Galton H.* The main functions of the Slavic verbal aspect. Skopje, 1976.
8. *Kušar M.* Rapski dijalekat.— *Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti*, 118. Zagreb, 1894, s. 49—50.
9. *Маслов Ю. С.* Очерки по аспектологии. Л., 1984.
10. *Rešetar M.* Primorski lekcioniari XV. vijeka (konac).— *Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti*, 136. Zagreb, 1898, s. 192—193.
11. *Jagić V.* Памятникъ глаголической письменности: Маринское Четвероевангелие съ примѣчаниями и приложениями. Graz, 1960 (Berlin, 1883), с. 458—459.
12. *Barentsen A. A.* Tijd, aspect en de conjunctie *poka*. Over betekenis en gebruik van enkele vormen in het moderne Russisch. Amsterdam, 1985, p. 60, 431.
13. *Stunová A.* In defence of language-specific invariant meanings of aspect in Russian and Czech. *Studies in West Slavic and Baltic Linguistic* (= *Studies in Slavic and General Linguistic*, 16). Amsterdam, 1991.

<sup>20</sup> Если бы действия, выраженные имперфективным имперфектом в этом примере не являлись «последними в цепи», наверное все-таки оставалась бы возможность выбора несовершенного вида в связи с более сложной цикличностью описываемых процессов по сравнению с другими процессами: насколько я понимаю, каждая отдельная шкура только однажды подвергается действиям, обозначаемым перфективным имперфектом, и по крайней мере несколько раз действиям, обозначаемым имперфективным имперфектом.

<sup>21</sup> В отличие от «кратно-предельного» типа у Маслова [9, с. 130—131].



# ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

АКСЕНОВА Е. П.

## ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ СЛАВИСТИКИ В 1930-е ГОДЫ

В 1934 г. был закрыт просуществовавший менее трех лет Институт славяноведения. Это событие связано с начатым тогда наступлением на славистику как якобы «реакционную науку», распространенную в фашистской Германии и наносящую «большой вред нашей идеологии» (см. [1]). Опираясь на подобные политические установки, в условиях того времени нетрудно было инспирировать «дело славистов», в связи с которым подверглись необоснованным репрессиям многие ученые, в том числе и сотрудники Института славяноведения (см. [2]). В постановлении Президиума АН СССР от 10 июня 1934 г. о его ликвидации говорилось, в частности, о необходимости сосредоточения (фактически, это было распыление) славистических исследований по отдельным дисциплинам в соответствующих более крупных институтах, таких как Институт языка и мышления, Институт литературы (с 1935 по 1949 гг., до 1935 г. — Институт новой русской литературы). Данный шаг нарушал комплексность подхода к изучению славянских народов, их истории и культуры. Но даже в таком виде славистические исследования не всегда осуществлялись, поскольку не имелось необходимой базы (так, в ИЛИ не были развернуты работы по славянским литературам, а историческая славистика появилась в Институте истории только в 1939 г.).

Процесс советизации и политизации науки, проводимые в связи с этим реорганизации системы научно-исследовательских учреждений, международная и внутривосточная конъюнктура и другие факторы крайне отрицательно сказывались на развитии славяноведения. Репрессии 30-х годов нанесли непоправимый урон кадровому составу славистов. Но, несмотря на все отягощающие обстоятельства, славяноведческая мысль не замерла<sup>1</sup>.

В созданном по инициативе академика Н. Я. Марра и руководимом им Яфетическом институте Академии наук в конце 20-х годов предполагалось иметь кабинеты по изучению живых языков, в том числе славянских и финских. Однако в пятилетнем плане на 1929/1930—1933/1934 гг. работы по языкам зарубежных славян практически не предусматривались. Скорее всего, это определялось отсутствием необходимых специалистов, но, вполне возможно, сказывалось и влияние установок яфетической концепции Марра. Руководство предполагало в 1930—1931 гг. увеличить штат на четыре (в другом варианте — два) человека, специализирующихся в области славянских и финских языков [3, 1930, д. 1, л. 9, 11—23, 48, 68—69].

Аксенова Елена Петровна — канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

<sup>1</sup> В связи с отсутствием в исследованных архивах достаточного количества материалов, касающихся научных разработок рассматриваемых в статье славистических учреждений, автор анализирует в первую очередь научно-организационную сторону их деятельности.

Исследования в области славянской лингвистики развернулись в Институте языка и мышления им. Н. Я. Марра (ИЯМ — так с 1931 г. стал именоваться Яфетический институт) несколько позже, когда в нем был создан Кабинет славянских языков (КСЯ) во исполнение постановления Президиума АН от 10 июня 1934 г., предлагавшего ИЯМ усилить группу по изучению славянских языков. Еще при жизни Марра на должность заведующего кабинетом был приглашен академик Б. М. Ляпунов, который не являлся сторонником марризма и придерживался, по его собственным словам, «эволюционных взглядов на языки» [4]. Помимо него в работе кабинета принимали участие члены-корреспонденты С. П. Обнорский и Л. В. Щерба, а также Б. А. Ларин, С. Г. Бархударов, Д. Д. Димитров, С. С. Советов, В. Г. Чернобаев, Ф. П. Филин, И. К. Зборовский, А. С. Никулин и др. <sup>2</sup>.

Характерным явлением в науке того времени было распространение лингвистической теории Марра. Свойственное марризму вульгарно-социологическое понимание связи языка и общественной жизни приводило, в частности, к тому, что даже теоретические вопросы языкознания должны были тесно увязываться с политической практикой и потребностями дня <sup>3</sup>. Такую задачу ставил перед коллективом ИЯМ производственный план на 1930—1931 гг. Наряду с общими проблемами в нем выделялись и «специальные задания», например, разработка темы «Язык как орудие борьбы классов. Языковая политика в капиталистических странах» [3, 1930, д. 1, л. 54]. Заложённое при основании института направление сохранялось и в дальнейшей его деятельности. В 1935 г. КСЯ наряду с темами «Н. Я. Марр и славянские языки», «Принципы классификации языков и грамматика отдельных языков» запланировал также работу «Критика фашизма в языкознании и буржуазное наследство». Намеченные в связи с этим доклады и статьи Б. М. Ляпунова, Л. В. Щербы, С. Г. Бархударова, Д. Д. Димитрова и других должны были затронуть в основном зарубежную славистическую историографию [3, 1935 д. 14, л. 4]. Те же направления остались и в 1936 г., правда, последняя тема была закреплена за одним Д. Д. Димитровым [3, 1936, д. 15, л. 5], видимо, как наиболее опытным ее разработчиком <sup>4</sup>.

Характерной чертой деятельности КСЯ являлось изучение не только южно- и западно-, но и восточнославянских языков, основанное на широком понимании предмета славистических исследований (восточнославянское, особенно русское, языкознание преобладало в работах КСЯ, да и сам кабинет одно время назывался Кабинетом русского и других славянских языков). Некоторые аспекты изучения южно- и западнославянских языков затрагивались в докладах по общеславянской проблематике и древнерусским сюжетам. Большое место в планах кабинета занимала подготовка «Древнерусского словаря» (под руководством Б. А. Ларина) [3, 1935, д. 14, л. 17—18].

Далеко не все лингвистические проблемы могли быть поставлены в планах КСЯ, серьезные лакуны имелись в изучении отдельных языков (что в немалой степени зависело от количества и состава сотрудников кабинета). Так, на одном из заседаний кабинета в 1935 г. Бархударов отмечал, что «по польскому языку не ведется никакой работы» [3, 1935, д. 14, л. 22].

Важным направлением деятельности сотрудники КСЯ считали составление лингвистических атласов. На заседании 29 октября 1935 г.

<sup>2</sup> Н. С. Державин лишь изредка участвовал в заседаниях КСЯ. В 1934 г. он получил от Б. М. Ляпунова приглашение работать в кабинете, но отказался, сославшись на занятость. Подобные приглашения он получал и в последующие годы [5]. Вместе с тем Державин был тесно связан с работой КСЯ, являясь председателем Комиссии по составлению грамматики русского языка, в которую входили и некоторые сотрудники кабинета. Державин также руководил группой словаря современного русского языка, подготовку которого вел Словарный отдел ИЯМ.

<sup>3</sup> Из последних публикаций по данной теме интерес представляет статья В. Алпатова «История одного мифа. Марр и марризм» [6].

<sup>4</sup> В декабре 1934 г. Димитров выступил с докладом, а в 1935 г. была опубликована его статья по данной теме [7].

Л. В. Щерба рассказал собравшимся о международной комиссии, занимающейся сбором лингвистического материала, о составлении атласов в различных странах и т. д. [3, 1935, д. 14, л. 59—60]. Возникли различные мнения о принципах и методах работы над лингвистическими атласами. Ф. П. Филин, в частности, считал: «Мы не можем копировать опыт зарубежных стран» и должны осуществить работу «в более короткий срок», учитывая происходящую «ломку в деревне» [3, 1935, д. 14, л. 60—60 об.].

В деятельности КСЯ, особенно в работах молодых ученых, в их полемических выступлениях на заседаниях кабинета сказывалось заметное влияние марризма, поддерживаемого руководством ИЯМ. Однако следует отметить, что для ряда исследователей, по словам одного из сотрудников ИЯМ того времени, марризм являлся лишь щитом, под прикрытием которого можно было свободно работать.

Д. Д. Димитров в докладе «Вокативные частицы в болгарском языке» (1935) в качестве исходного пункта своего исследования определил «тезис Н. Я. Марра о стадиальности речи» [3, 1935, д. 14, л. 30]. На новое учение о языке он опирался и в работе «Числительные на -ма в славянских языках», предназначенной «для напечатания в сборнике, посвященном Н. Я. Марру» [3, 1936, д. 17, л. 29].

Приверженность марризму была в то время мерилom научной значимости и политической благонадежности ученого. В 1935 г. на 40-летнем юбилее научной и общественной деятельности Н. М. Каринского наряду с выступлениями, в которых отмечался вклад ученого в науку и преподавание (С. П. Обнорского, Л. В. Щербы), были высказывания (Ф. П. Филина, Д. Д. Димитрова), подчеркивавшие, что Каринский — «единственный из старого поколения крупный славист, который встал на новый методологический путь. В этом Н. М. главным образом ценен для нас» [3, 1935, д. 14, л. 70—72]. В следующем году, после смерти Н. М. Каринского, М. Г. Долобко, Н. К. Никольского, на заседаниях, посвященных их памяти, вновь оценивались не одна лишь их роль в разработке тех или иных проблем, но и отношение к учению Марра [3, 1936, д. 16, л. 55 об., 64—65]. На заседании, посвященном памяти В. М. Истрина (1937), Л. В. Щерба отмечал интерес ученого не только к основным своим занятиям, но и к статьям Марра, что говорит «о стремлении осознать все новое». Таким способом он хотел обратить внимание на ценность научного наследия Истрина. Подобный «ход» не обманул «бдительного» Димитрова, напомнимшего, что «работа В. М. о Иосифе Флавии была использована реакционными кругами за границей как одно из доказательств „историчности Христа“». В ответ Щерба пояснил, что издано не исследование, а только текст, который может использовать кто угодно, но «у самого В. М. ничего предосудительного, насколько мне известно, нет» [3, 1937, д. 16, л. 24].

Политизация и идеологизация всех сфер жизни прямо сказывались на деятельности КСЯ. При обсуждении «Толкового словаря русского языка» (под редакцией Д. Н. Ушакова) в ряде выступлений подчеркивалась его «аполитичность». Составитель словаря, С. И. Ожегов, вынужден был признать это обвинение (наряду с обвинением в формализме) и «согласиться с выступлением Ф. П. Филина, который дал четкие указания о классовом определении слов» [3, 1935, д. 14, л. 76].

Наряду с исследовательской, КСЯ осуществлял и научно-организационную деятельность. Так, в 1935 г. он взял на себя подготовку общеакадемического заседания, посвященного 100-летию со дня рождения А. А. Потехни. Эту работу возглавил Б. М. Лягунов. В программу заседания был включен его доклад «Этимология и история звуков славянских языков в работах А. А. Потехни» [3, 1935, д. 14, л. 6]. В рамках подготовки к юбилею Потехни Ф. П. Филин был командирован на Украину для ознакомления с хранящимися там рукописями ученого. Он получил предложение забрать рукописи в Ленинград, так как для харьковского архива эти документы «никакого интереса не представляют и являются случайным материалом». В Киеве была достигнута предварительная догово-

ренность о совместном проведении на Украине юбилея Потебни Академиями наук СССР и УССР [3, 1935, д. 14, л. 65, 68]. КСЯ готов был взять на себя руководство работой по подготовке к изданию этимологического словаря Потебни [3, 1936, д. 16, л. 52].

Печатная продукция КСЯ была невелика. Кроме публикации отдельных статей в различных периодических изданиях и сборниках, выпускалось серийное издание «Slavica» — в 1936 г. вышел первый номер и были подготовлены второй (вышел в 1937 г.) и третий номера [3, 1936, д. 15, л. 3].

Редкие командировки сотрудников КСЯ служили не только сбору материалов, но и установлению связей со славистами других городов. Так, в 1936 г. Б. М. Ляпунов ездил в Киев, где знакомился с глаголическими Киевскими листками, и в Одессу, где изучал рукописи покойного профессора А. И. Томсона (в том числе исследование о древнейшей славянской письменности и возникновении славянских буквенных знаков). В Одесском университете он выступил перед коллегами с докладом о личных местоимениях в славянских языках, а также рассказал о работе КСЯ [3, 1936, д. 15, л. 12—14].

В конце 1936 г. была проведена проверка работы кабинета. Главные выводы комиссии носили критический характер. Указывалось, что разработка основной темы по истории грамматики русского языка ведется недостаточно из-за нехватки специалистов (всего шесть человек), в связи с чем рекомендовалось увеличить штатный состав и привлекать сотрудников на договорных началах. Было обращено внимание на то, что в кабинете «очень слабо представлены другие (кроме русского. — Е. А.) славянские языки» (ими занимались два сотрудника). Высказывалось пожелание усилить связь с украинскими и белорусскими институтами, чтобы передать им для разработки часть тематики. Отмечалось также «большое количество случайных докладов», мешавших «плановой работе кабинета» (действительно, из 26 докладов, сделанных с января по октябрь 1936 г., 20 были внеплановыми, поскольку в КСЯ как центр славистических исследований обращались с предложениями многие исследователи, не работавшие в институте). В заключение особо подчеркивалось, что «молодые кадры кабинета в своей методологической борьбе со сторонниками индоевропеизма не получают помощи ни от других кабинетов, ни от института в целом» [3, 1936, д. 15, л. 18—19 об., 32] (это свидетельствует о том, что далеко не все лингвисты покорно следовали марристовской теории).

Несмотря на критику в адрес кабинета за слабое изучение «других славянских языков», положение в 1937 г. не изменилось. В плане на тот год значились сообщение Б. М. Ляпунова «Лексика болгарского сборника 1348 г.» и несколько докладов и статей Д. Д. Димитрова (после его ареста они были вычеркнуты из плана, но сохранились протоколы, зафиксировавшие его выступления, например, с докладом «Частица *-итe* в болгарском языке (из истории Futurum'a в славянских языках)», в основе которого лежала марристовская «точка зрения, идущая вразрез традиционной теории» [3, 1937, д. 16, л. 1—2, 15, 22].

Слависты постоянно сталкивались с отсутствием или неполнотой информации об имеющейся славистической литературе в СССР и за рубежом. На необходимость наладить библиографическую работу указывали Л. В. Щерба, И. К. Зборовский, Д. Д. Димитров. Последний предлагал создать библиографический центр по славистике в международном масштабе и организовать в ИЯМ критико-библиографический бюллетень [3, 1937, д. 16, л. 22 об. — 23].

Выявление «шпионов» и «вредителей», борьба с «врагами народа», особенно усилившиеся в 1937 г., отразились и на такой не столь уж близкой к политике области, как лингвистика. В этом отношении показательно обсуждение доклада одесского языковеда В. И. Бойко «Продуктивизация немецкого суффикса *-ung* в славянских языках», растянувшееся почти на два месяца. Выступившие в прениях дали ему резкую оценку, обвинив автора в том, что он встал «на точку зрения одностороннего влияния германцев на славян. Эта „теория“ не соответствует объективной действительности и является политически вредной».

Трудно что-либо сказать о содержании доклада, не видя текста, но его обсуждение не имело ничего общего с наукой. Ученые старшего поколения, не склонные видеть в языкознании политический фактор, старались смягчить удары, наносимые Бойко. Ляпунов и Обнорский настаивали на том, что у докладчика «не сознательная ошибка, а невольная. Бойко слепо пошел за фактами и односторонне осветил эти факты». Молодые сотрудники, наоборот, усматривали в научных дискуссиях арену политической борьбы и вместо анализа и объективной критики предъявляли исследователю политические обвинения (которые в то время могли иметь самые трагические последствия). Об этом красноречиво свидетельствуют даже скудные строки протоколов (*Д. Д. Димитров*: «Фашистская печать расхвалила бы работу Бойко... Влияние неметчины на славянские языки настолько преувеличено, что работа представляет собою вредную „теорию“»; *Е. Г. Колесников*: «Бойко ... объективно защищает „расовую теорию“»; *С. С. Советов*: «Раз навсегда нужно забыть, что наука аполитична»; *И. К. Зборовский*: «Бойко объективно льет воду на мельницу фашизма и ничего общего не имеет с советским языкознанием» [3, 1937, д. 16, л. 13—13 об.]).

Выписку, содержащую подобные выводы, направили в Одесский пединститут, где работал Бойко. Эта акция была осуществлена без ведома руководителя кабинета Б. М. Ляпунова, который, узнав о письме, назвал его «доносом». Секретарь парткома ИЯМ Борисов выразил удивление по поводу позиции Ляпунова, заявив, что «у нас доносов нет». Он сообщил, что «Одесский пединститут благодарит Кабинет славянских языков за сделанные указания и понимает положение дел правильно. Ведь объективно из сообщения т. Бойко вытекает то, что фашисты только приветствовали бы его работу, если бы она была напечатана». Неосведомленность Ляпунова о письме, по мнению Борисова, «обуславливается отсутствием надлежащей системы в работе Кабинета славянских языков» (в ответ последовало заявление Ляпунова об уходе с поста руководителя кабинета) [3, 1937, д. 16, л. 10, 13].

В 1938 г. КСЯ возглавил профессор В. Г. Чернобаев [8; 9]. С его приходом начали усиливаться полонистические исследования, в то время как проблемы южнославянских языков остались в стороне (после ареста Димитрова). Своеобразный «польский уклон» был определен в значительной степени заданием СНК СССР — «исследовать полонизмы в украинском языке». Отделение общественных наук АН СССР полагало, что эту тему можно расширить «в тему о сравнительно-историческом изучении русского и украинского языков или о взаимоотношениях этих языков в их истории» [3, 1938, д. 16, л. 52]. По всей вероятности, для выполнения этого задания в сентябре 1938 г. на базе КСЯ была создана группа славянских языков во главе с Чернобаевым (в нее также входили Советов, Зборовский, Щерба, Ларин). В плане группы на 1939 г. тема была уточнена: «Полонизмы в украинском и белорусском языках и борьба с ними». При ее разработке имелось в виду «подчеркнуть необходимость очищения украинского и белорусского языков от тех наносных элементов, с помощью которых буржуазные националисты долгое время стремились их всячески отдалить от русского языка». Таким образом, в центр проблемы ставилось не ее изучение, а «борьба с полонизмами», т. е., в известном смысле, насилие над естественными языковыми процессами. Группа сразу приступила к подготовке сборника, «который должен осветить вопрос о полонизмах как в старшем, так и в современном языке». Основу сборника должны были составить доклады, подготовленные для заседаний группы и КСЯ: В. Г. Чернобаева и Б. В. Лаврова о полонизмах в украинском академическом словаре, Л. В. Исаевой «О словарном составе языка Шевченко», Б. М. Ляпунова «Украинско-русские языковые отношения в старшую эпоху», И. О. Кузьмина о полонизмах в белорусском словаре Носовича и в белорусских народных сказках, Е. Г. Колесникова «Украинско-русские языковые отношения в свете нового учения о языке». Из этого перечня видно, что группа привлекла к работе новых сотрудников (Кузьмин работал по договору). Группа принимала также участие в ре-



цензировании издававшегося в Москве польско-русского словаря; об особенностях работы над этим словарем сделал сообщение Чернобаев [3, 1939, д. 22, л. 1, 3, 6—7, 41—42].

В 1939 г. деятельность ИЯМ обсуждалась в Отделении литературы и языка. В принятом постановлении констатировалось, что институт в основном стоит «на позиции нового учения о языке академика Н. Я. Марра». Среди отмеченных недостатков, главным образом касавшихся организации и методов работы, следует выделить пункт, в котором (как и при проверке 1936 г.) указывалось на слабое внимание института к «изучению русского и вообще славянских языков»; в постановляющей части предлагалось усилить разработки в области славянского языкознания [3, 1939, д. 22, л. 102—104]. Трудно сказать, повлияло ли это постановление на активизацию славистических изучений в КСЯ (вскоре война прервала нормальное течение научной жизни).

Несмотря на то, что кабинет и группа имели разные цели, их деятельность не была четко разграничена. Доклады на славянские темы заслушивались и там и там (например, сообщение Б. М. Ляпунова о труде А. М. Селищева «Западнославянские языки» предназначалось для группы славянских языков, а доклад С. С. Советова «Полонизмы в лексиконе П. Берынды» — для заседания КСЯ [3, 1939, д. 21, л. 104, 119]).

В 1940 г. наибольшее внимание на заседаниях КСЯ привлекли доклады Д. В. Бубриха о славяно-финских языковых отношениях, Н. Н. Зарубина о картотеке Н. К. Никольского, Л. П. Якубинского о начале славянской письменности. По общей проблеме «Взаимоотношения славянских языков» Б. М. Ляпунов написал статью о среднеболгарском языке, Е. Г. Колесников собирал материалы о терминах родства в славянских языках, работа Л. П. Якубинского «Славянские термины родовой организации» осталась невыполненной в связи с его уходом из института. В. Г. Чернобаев и Б. В. Лавров работали над темой «Чешский язык в догуситскую эпоху» [3, 1940, д. 11, л. 1—2].

На протяжении 30-х годов КСЯ ИЯМ был единственным подразделением в Академии наук, занимавшимся славянским языкознанием. Однако, испытывая недостаток в специалистах, кабинет не мог наладить работу по широкому кругу лингвистических проблем и по всем славянским языкам. К тому же, репрессии коснулись и КСЯ. Исследования южно- и западославянских языков оставались на втором плане (уступая первенство восточнославянским языкам) и порой зависели от заданий директивных органов. В самом конце десятилетия исследовательская тематика КСЯ несколько расширилась, хотя все же охватывала очень небольшую часть славянского языкознания. Кроме того, между молодыми учеными, сторонниками теории Марра, и учеными старшего поколения существовали методологические разногласия, в результате чего одни и те же проблемы рассматривались и оценивались ими по-разному. Сказывалась также, как отмечалось в постановлении Отделения литературы и языка, «вредная атмосфера недоверия и не всегда обоснованного обличения отдельных ученых в уклонах и ошибках, что в свою очередь вело к расстройству научной работы, отталкивало научных работников от разработки теоретических вопросов» [3, 1939, д. 22, л. 104].

Для успешной работы советских славистов необходима была обширная специальная литература. Это имело особо важное значение ввиду сокращения источниковой базы исследований в связи с ограничением командировок советских ученых в зарубежные страны (по причинам материального и идеологического порядка). До революции Библиотека Академии наук (БАН) располагала ценным книжным собранием на славянских языках. Славянский фонд библиотеки к 1917 г. насчитывал 112 тыс. томов [10, с. 324]. На базе Славянского отдела I Русского отделения библиотеки было создано специальное III Отделение печатных книг на славянских языках. Первоначально оно делилось на 13 отделов (в основном по языковому признаку; при этом существовал отдел, включавший книги на неславянских — латышском и литовском — языках). К 1926 г. количество отделов уменьшилось до девяти. После революции в фонд Сла-

вянского отделения поступило 6 тыс. томов Библиотеки Славянского благотворительного общества. В дар была передана ценная коллекция книг по славяноведению профессора Д. Н. Вергуна. Возможность пользования своими книгами предоставил Славянскому отделению В. В. Водозов. В. И. Срезневский отмечал, что Славянское отделение БАН представляет «самый богатый в России подбор книг на славянских языках и единственную в России обособленную славянскую библиотеку» [11, с. 308—310, 312—314, 322, 353].

Однако в послереволюционные годы комплектование отделения ухудшилось: оно перестало получать многие польские, украинские и белорусские издания. Для пополнения фондов библиотека использовала не только обязательные экземпляры, но и обмен периодическими изданиями на славянских языках, а также частные пожертвования; практиковалась и покупка книг. С 1924 г. начал налаживаться книгообмен с зарубежными странами. Больше всего изданий поступало из Чехословакии. Чешская коллекция содержала в 1927 г. значительное число названий книг (3828), журналов (379), газет (28). В 20-е годы в Славянском отделении трудились такие специалисты, как В. П. Адрианова-Перетц, В. Ф. Боченовский, Д. И. Лебедев, С. П. Розанов, П. П. Смердынский, Б. В. Лавров, Л. В. Раузовская [10, с. 325—326; 11, с. 322—323, 327—328].

В конце 20-х годов были разработаны принципиально новые подходы к организации библиотечной работы. В 1930 г. в БАН произошли структурные изменения: было создано четыре функциональных отдела (каталогизации, выдачи и т. д.), и, таким образом, Славянское отделение перестало являться самостоятельной единицей [10, с. 385—386]. Это обстоятельство не могло не обеспокоить славяноведов. Возникла реальная опасность распыления и утраты фонда. После 1930 г. книги, напечатанные кириллицей, были включены в общий фонд книг на русском языке, а изданные латинским шрифтом — в фонд иностранных книг. Специальные картотеки славянских изданий вливались в общие каталоги. При этом происходили досадные потери. По свидетельству Н. С. Державина, сотрудники Института славяноведения не могли пользоваться сочинениями И. В. Ягича, поскольку в каталоге они не нашли отражения. Не было в нем и периодических изданий, выходящих после 1914 г. [12, д. 43, л. 2—3].

После образования Института славяноведения была достигнута договоренность о передаче ему во временное пользование книг по славяноведению на славянских и неславянских языках. Вместе с тем, как отмечал в 1932 г. Державин, в Инслав передавались только книги, приобретенные на валюту по заявкам института, все остальные поступления в результате обмена и дарения «консервируются в БАН без возможности их использования по специальности». В связи с этим Державин от имени сотрудников института обратился в Президиум АН СССР с просьбой о сохранении библиотеки бывшего Славянского отделения БАН для Инслава (тем более, что они находились в одном здании). Он, в частности, писал, что при неналаженности культурных связей со славянскими странами, при нехватке валюты, отпускаемой на научные цели, для успешной исследовательской работы единственного в Союзе Института славяноведения необходимо максимальное содействие со стороны БАН. Державин ходатайствовал: 1) о сохранении в качестве отдельной библиотеки собрания Славянского отделения и предоставлении сотрудникам Инслава права беспрепятственного пользования им; 2) о сохранении и пополнении карточного каталога этого книжного фонда; 3) об организации в БАН специального кабинета славяноведения, куда должны поступать все новые книги и периодика на славянских и других языках по данной специальности. По мнению Державина, в этом кабинете должна быть сосредоточена и литература о греках, албанцах, венграх, румынах, молдаванах, изучение которых входило в задачи Инслава [12, д. 43, л. 3—5]. Первые два предложения руководство БАН не приняло. Что касается последнего, то решено было открыть в небольшом помещении кабинет, обслуживание которого должно «производиться силами и на средства Инслава» [13, д. 19, л. 15].

Кабинет начал функционировать с 1 июня 1932 г. по три часа в день. 16 июня БАН сообщала директору Инслава о том, что передача в кабинет славянских изданий, выписываемых за счет средств Инслава и получаемых по обмену, будет происходить в дальнейшем регулярно, как и книги по Румынии, Венгрии, Албании, Греции. Предполагалось также передать в кабинет дублетные справочные славянские издания [13, д. 19, л. 29]. Оставаясь в структуре БАН, кабинет как бы находился при Инславе.

После закрытия Инслава сохранение кабинета приобрело особое значение для ленинградских ученых. С ним связывались надежды на продолжение работ в области славистики. Наличие такого кабинета в составе БАН предусматривалось постановлением Президиума АН СССР от 10 июня 1934 г. В нем же говорилось о возможном трудоустройстве в кабинете сотрудников ликвидированного Инслава [8, д. 37, л. 69, д. 62, л. 7].

Кабинет формально учреждался с 1 июля 1934 г. [14, 1934, д. 4, л. 5]. Проект положения о Кабинете славяноведения БАН был написан Державиным в ноябре того же года. В этом документе определялся статус кабинета как вспомогательного научно-исследовательского учреждения, обслуживающего организации АН и отдельных ученых, занимающихся разработкой вопросов славянского языкознания, литературоведения, истории, этнографии и фольклора. Предусматривалась работа по комплектованию кабинета литературой, организации выставок, составлению аннотированных библиографических указателей, подготовке тематических обзорных докладов по новейшей библиографии, выявлению и описанию неопубликованных материалов в архивах и библиотеках Москвы, Ленинграда и т. д. Предполагалось, что его работа будет проходить «в тесном контакте с общим руководством БАН», а это свидетельствовало об относительной самостоятельности кабинета, тем более, что его руководителя, по проекту, должен был назначать Президиум АН. В штате предусматривались также еще два научно-технических работника [13, 1934, д. 4, л. 7—8]. В должности заведующего был утвержден К. А. Пушкаревич. Составленный им план работы кабинета на 1935 г. поражает своей насыщенностью, учитывая более чем скромное обеспечение кадрами [14, 1935, д. 16, л. 5]<sup>5</sup>.

В состав кабинета вошли следующие книжные комплексы: обширная библиотека казанских славистов М. П. и Н. М. Петровских (переданная из Московского университета)<sup>6</sup>; часть библиотеки Русского Археологического института в Константинополе (книги по истории Византии, связанные с историей и историей культуры южных славян, по славянским древностям); книги, пожертвованные учеными (В. Н. Петерцом, Н. М. Гальковским, М. Н. Сперанским и др.) и из личной библиотеки Державина. Таким образом, в кабинет было передано прежде всего книжное собрание

<sup>5</sup> О выполнении плана судить трудно, так как отчеты БАН за 1935 и 1936 гг. не содержат данных по Кабинету славяноведения. Там работал один штатный сотрудник [12, д. 62, л. 10].

<sup>6</sup> Авторы статьи о судьбе библиотеки [15] связывают ее перемещение из МГУ в БАН с переходом А. М. Селищева (перевезшего в 1929 г. книжное собрание из Казани в Москву) на работу в Инслав. Архивные материалы позволяют внести некоторые уточнения. Селищев назначался на должность старшего ученого специалиста института с 1 ноября 1933 г. [13, д. 29, л. 32], но не успел приступить к работе, так как подвергся репрессиям. Однако еще в 1931 г. Державин обратился к руководству АН с просьбой о передаче библиотеки Петровских в ведение нового института. Сектор науки Наркомпроса РСФСР ответил Академии наук, что данная библиотека, находящаяся в Лингвистическом кабинете историко-филологического факультета МГУ, в значительной части обработана (составлены описи), используется студентами и научными работниками, поэтому ее изъятие из МГУ является нецелесообразным [13, д. 9, л. 1—5]. Но уже в конце 1931 г. удалось добиться согласия на передачу библиотеки в распоряжение АН (возможно, в связи с прекращением подготовки славистов в МГУ) [13, д. 7, л. 10 об.]. На заседании коллегии Инслава 28 февраля 1933 г. было сделано сообщение о приобретении институтом библиотеки Петровских и помещении ее на хранение в Славянский кабинет БАН [13, д. 29, л. 13]. В 1938 г., возвращаясь к судьбе закрытого уже Кабинета славяноведения БАН, Державин подчеркивал, что Инслав привел в порядок библиотеку Петровских (хотя неизвестно, в чем это выразилось), которая, по его словам, неразобранной хранилась в подвалах МГУ [12, д. 19, л. 1].

бывшего Инслава [13, д. 15, л. 47, д. 29, л. 54 об., д. 24, л. 6, 12, д. 19, л. 1—1 об.].

Некоторые исследователи полагают, что создание Кабинета славяноведения (как и других кабинетов) было искусственным мероприятием, да и штатов не хватало. Поэтому вскоре все они прекратили существование [11, с. 418]. В свое время Н. С. Державин склонен был видеть в закрытии кабинета в 1936 г. продолжение «похода» против науки о славянах и действия «врагов народа» [12, д. 62, л. 10; 17, с. 75, 79].

Каковы бы ни были истинные причины закрытия кабинета, который до 1936 г., по словам Державина, оставался «единственным в Союзе маленьким центром славяноведных исследований»<sup>7</sup>, дальнейшая судьба его книг печальна. «В настоящее время, — писал Державин в 1938 г., — от Кабинета славяноведения в Библиотеке АН не осталось и следа: помещение занято другим учреждением, а богатейший книжный фонд его вынесен на коридор и в беспорядке свален здесь в книжные шкапы» [12, д. 62, л. 10—11]. Да и все собрание Славянского отделения утратило свое научное значение. Новые поступления включались в общий фонд по отраслевому принципу. Ученые-слависты лишились книжной базы (фонд Славянского отделения до сих пор не отражен в систематическом каталоге БАН) [10, с. 236].

В начале 1938 г. руководство Академии решило передать книжное собрание Кабинета славяноведения БАН в КСЯ ИЯМ. Осуществление этого решения, возможно, позволило бы сохранить в виде одного компактного комплекса славистическую литературу и обеспечить ее использование специалистами (хотя штатных работников для обслуживания такого кабинета в ИЯМ не было). Но передаче книг в ИЯМ воспротивился сам инициатор создания Кабинета славяноведения — Н. С. Державин. В докладной записке в Президиум АН он обращал внимание на то, что книжный фонд по славяноведению в основном состоит из трудов «литературоведческого и исторического характера», книг же по языкознанию совсем немного. Поэтому, полагал Державин, библиотека не представляет интереса для КСЯ, «если не учитывать интересов научного сотрудника этого кабинета, слависта Чернобаева, литературоведа по специальности, но я думаю, что в Институте языка и мышления надо заниматься прежде всего языковедением, а не литературоведением». Державин просил Президиум, если будет решено, что Кабинету славяноведения не место в БАН, передать его книжные фонды в ведение Института литературы, где они могли бы составить «ценную органическую и подлинно рабочую, а не декоративную часть основной библиотеки» [12, д. 19, л. 2]. По всей вероятности, на этот раз руководство Академии прислушалось к мнению Державина и оставило книги по славистике на прежнем месте.

Обеспокоенный почти полным прекращением исследований в области славяноведения, а также отсутствием центров по изучению славянских народов, Н. С. Державин направил в 1937 г. вице-президенту АН Г. М. Кржижановскому предложения по уточнению и рационализации структуры и сети учреждений Академии, особое внимание обращая на развитие славистических подразделений. Он настоятельно просил восстановить в БАН Кабинет славяноведения, «самочинно закрытый администрацией библиотеки в мае 1936 г., вопреки постановлению Президиума АН и моему протесту». Кроме того, не надеясь на воссоздание Института славяноведения [16, с. 80], Державин предлагал организовать в Институте истории Кабинет истории славянских народов, в Институте истории материальной культуры — Сектор славянских древностей, в Институте этнографии — Кабинет славянской этнографии, в Институте литературы — Отдел истории славянских литератур. Наряду с этим, по мнению Державина, в Музее этнографии необходимо «обратить внимание на надлежащую постановку этнографии славянских народов», в Музее религии «выделить историю религиозно-рационалистических движений у славян».

<sup>7</sup> Не совсем точно, так как существовал КСЯ ИЯМ, но в Кабинете славяноведения БАН охват славяноведческих дисциплин был шире.

Выходя за рамки академической сферы, ученый предлагал во всех музеях союзного значения (Русский музей, Третьяковская галерея и т. п.) «организовать специальные отделы славянской этнографии и искусства» [12, д. 16, л. 9, 28—29].

Однако изменений к лучшему в состоянии славяноведения не произошло, и в 1938 г. Державин обратился с письмом и докладной запиской к президенту АН В. Л. Комарову [12 д. 62, л. 1—19]. Державин отмечал, что славяноведение (включая изучение восточных славян) «страдает существенными недостатками и нуждается в самом серьезном внимании». Изучение зарубежных славян «находится буквально в пренебрежении и загоне и лишено элементарных условий для своего развития», что неблагоприятно отражается на этой и смежных областях знания. Державин высказал мнение (в духе времени и собственных представлений), что в период, когда фашизм угрожает славянским народам, «максимальной активизацией своих славяноведных изучений мы могли бы сыграть большую культурную роль в международном масштабе и оказать свое противодействие злостной агитации русских белоэмигрантских кругов, состоящих на службе фашизма, доказывающих, что Советский Союз не интересуется славянами, что представляет собою наглую клевету на Советский Союз и советскую науку».

Державин напомнил, что постановление Президиума от 10 июня 1934 г. не было воплощено в жизнь. В результате наблюдается отсутствие организационно налаженной научно-исследовательской работы по славяноведению, необходимых специалистов, аспирантов, академических изданий по этой специальности. Характеризуя кадровую ситуацию, Державин отметил, что КСЯ ИЯМ был «усилен» одним молодым научным сотрудником (Д. Д. Димитровым)<sup>8</sup>, которого академик называет (после 1937 г.) «невежей», «промоглым интриганом и клеветником», «по идеологическим установкам — врагом народа». Освободившаяся в связи с арестом Димитрова вакансия была предоставлена В. Г. Чернобаеву, по оценке Державина, впрочем, не лишенной субъективности, — «узкому литературоведу по специальности, человеку без специальных лингвистических познаний и интересов». В Ленинградском отделении Института истории, по сведениям Державина, два молодых научных работника, занимающихся историей Польши, не являются историками-славистами. Институт литературы не включил в планы своих работ изучение взаимосвязи славянских литератур с русской и не имеет специалистов по истории славянских литератур. Он статифицировал также, что за четыре года не вышло ни одного сборника статей по славяноведению. В докладной записке Державин коснулся и плачевного положения Кабинета славяноведения БАН (см. выше).

Заканчивая обзор состояния славяноведения, Державин делал вывод, что АН отстает «от общих темпов строительства нашей советской социалистической науки, культуры и просвещения». Вслед за невеселым итогом он делал конкретные предложения, которые, по его мнению, могли бы исправить положение (они в основном перекликались с его же предложениями 1937 г., отличаясь в частности): немедленная организация Отдела славянских литератур (с временным включением в его программу этнографии и фольклора) в Институте мировой литературы, в библиотеке которого имелся Кабинет славянских литератур; восстановление в БАН Кабинета славяноведения; в работе сессий Отделения общественных наук, в периодических и серийных академических изданиях должны шире освещаться проблемы славянской филологии [12, д. 62, л. 17—19].

Поддерживая предложение Державина, директор ИМЛИ И. К. Луппол также писал В. Л. Комарову о целесообразности создания в Институте Секции славянских литератур на базе кабинета (по без изучения восточнославянских литератур и этнографии). Секция могла бы состоять из руководителя, старшего научного сотрудника, секретаря, двух аспирантов и докторанта [12, д. 62, л. 23 об. — 24 об.] (секция так и не была создана).

<sup>8</sup> Президиум АН СССР в приказе от 5 марта 1933 г. распорядился перевести Димитрова в штат ИЯМ [13, д. 26, л. 12].

Однако академик-секретарь Отделения общественных наук А. М. Деборин в письме к президенту АН о создании подобного подразделения в ИМЛИ высказался отрицательно: «Очевидно, при таком составе поставить серьезно научную работу совершенно невозможно». По его мнению, не следует отрывать изучение литератур от изучения языков. В группу славистов ИЯМ можно включить несколько человек из Института литератур и трех-четырех аспирантов. Они составили бы Сектор по изучению истории языков, литератур и фольклора западных и южных славян (в связи с этим в начале 1939 г. Державин писал Кржижановскому о недопустимости создания общего отдела славянской филологии ИЯМ, что, по его оценке, «является несомненно кустарщиной, снижать до которой академическое славяноведение нельзя») [12, д. 62, л. 21—22, 31].

Таким образом, славяноведческая проблематика (в первую очередь языковедение и литературоведение) в 1930-е годы не вызвала заинтересованного внимания у руководства Академии в силу ряда причин политического и идеологического характера (см. [1; 2; 16]). В конце 30-х годов дальнейшая судьба славяноведения в значительной мере зависела от развития его исторического направления.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бернштейн С. В.* Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е годы XX в.) — Советское славяноведение, 1989, № 1.
2. *Горьянов А. Н.* Славяноведы — жертвы репрессий 1920—1940-х годов. Некоторые неизвестные страницы из истории советской науки. — Советское славяноведение, 1990, № 2.
3. Ленинградское отделение Архива Академии наук СССР (ЛО ААН), ф. 77 (Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра), оп. 1.
4. Българо руски научни врџки XIX—XX век. Документи. София. 1968, с. 223.
5. ЛО ААН, ф. 752 (Б. М. Ляцунов), оп. 2, д. 80, л. 11—11 об., 15, 17.
6. Знание — сила, 1990, № 12.
7. *Димитров Д. Д.* Славянская филология на путях фашизации (к оценке ее состояния на Западе). — Язык и мышление, 1935, № 5.
8. *Горьянов А. Н.* Из новых материалов о ленинградских славистах. — В кн.: Из истории университетского славяноведения в СССР. М., 1983, с. 174.
9. *Порочкина И. М.* У истоков советской славистики. Виктор Григорьевич Чернобаев. — Вестник ЛГУ, 1988, сер. 2, вып. 3, с. 36.
10. *Камарова В. П.* Чешские книги в Славянском фонде Библиотеки Академии наук СССР. — В кн.: Литературные связи славянских народов. Л., 1988.
11. История Библиотеки Академии наук СССР, 1714—1964. М. — Л., 1964.
12. ЛО ААН, ф. 827 (Н. С. Державин), оп. 3.
13. ЛО ААН, ф. 220 (Институт славяноведения Академии наук СССР), оп. 1.
14. ЛО ААН, ф. 158 (Библиотека Академии наук СССР), оп. 3.
15. *Горьянов А. Н., Кишкин Л. С.* Книжное собрание М. П. и Н. М. Петровских. — Советское славяноведение, 1986, № 5, с. 83.
16. *Аксенова Е. П.* «Изгнанное из стен Академии» (Н. С. Державин и академическое славяноведение в 30-е годы). — Советское славяноведение, 1990, № 5.



## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

*ПОЛИВЯННИ Д. И. Средновековният български град през XIII—XIV вв. Очерци. София, 1989, 180 с.*

*ПОЛЫВЯННЫЙ Д. И. Средневековый болгарский город в XIII—XIV веках*

Вряд ли у взявшего в руки рецензируемую книгу не возникнет желания сравнить ее с известной монографией С. Лишева, увидевшей свет два десятилетия назад [1]. С тех пор благодаря значительному увеличению фонда археологических материалов и выявлению новых письменных источников возросли возможности углубленного исследования темы, что и показал в своей работе Д. И. Поливянный, не только развив и дополнив наблюдения и выводы своего предшественника, но также существенно обновив подходы к многим сюжетам. В отличие от С. Лишева, автор стремится не столько к созданию картины городской жизни Болгарии в конкретный отрезок времени, сколько к выявлению тенденций развития экономики, политико-административных структур и культуры города.

Исследование открывается небольшим историографическим очерком (с. 10—28), в котором рассмотрена научная литература, главным образом 60—80-х годов, отражающая достижения урбанистики применительно к истории как болгарского, так и византийского и сербского города (некоторые локальные исследования выпали из поля зрения автора [2]).

Глава «Типология средневекового города в Болгарии и на Балканах» (с. 29—41) содержит классификацию балканских городов XIII—XIV вв. Ее отличие от давно существующих типологических схем такого рода состоит в том, что она лишена статичности, поскольку автор считает целью классификации не показ определенного этапа в развитии городов, а раскрытие присущих этому развитию тенденций и динамики. Многофункциональность средневекового города нашла отражение в пяти его типах, выделенных Поливянным. Первый составляют центры, для ко-

торых было характерно сочетание первостепенных политических функций с важной экономической ролью, базирующейся на преобладании в составе их населения торгово-ремесленного слоя (Велико Тырново, Бдин, Нессобр). Ко второму типу отнесены города менее развитые в торгово-ремесленном отношении и имевшие локальное политическое значение (Червен, Никополь, Шумен, Средец, Ловеч, Ямбол, Враца, Овеч, Вельбужд); к третьему типу — города, чья политическая роль в XIII—XIV вв. была более заметна, нежели социально-экономическая (Плевен, Крын, Копсис, Стоб, Боруй, Мельник, Струмица, Просек, Станимак). Следующая группа состоит из городов, чье значение определялось экономической деятельностью, тогда как их политические функции были мало заметны (Чипровец, Анхиял, Созополь и др.). К пятому типу относятся крепости, статус которых, учитывая торгово-ремесленные занятия населения, был во многом неясным. Этот тип крепостей, исходя из их географического положения, можно подразделить на два подвида. Исследуя с помощью данной схемы различные периоды истории города времени Второго Болгарского царства, автор приходит к выводу, что тезис о преобладании в развитии города восходящих тенденций не находит подтверждения.

В главе «Ремесло и товарное производство в болгарском городе в XIII—XIV вв.» (с. 42—66) на основе изучения новейшего археологического материала показано состояние различных элементов хозяйственной структуры города. Рассматривая один за другим виды ремесел, автор в конечном итоге делит их на две большие группы. В первую из них вошли занятия, связанные с удовлетво-

нием потребностей государства, церкви и феодальной элиты (оружейное, ювелирное дело, чеканка монет, монументальное строительство и т. д.). Вторую группу ремесел составляли специальности, связанные со спецификой городского образа жизни и служившие удовлетворению потребностей населения (металлообработка, производство керамики, одежды, обуви и т. д.). Вместе с тем автор отмечает существование в болгарских городах XIII—XIV вв. кварталов, жители которых занимались исключительно сельским хозяйством. Рассматривая организацию ремесла, он приходит к выводу об отсутствии в болгарском городе изучаемого времени ремесленных корпораций.

Глава «Торговля болгарского города в XIII—XIV вв.» (с. 67—90) посвящена главным образом рынку, который рассматривается как важнейший элемент хозяйственной жизни самого города и его отношений с сельской округой. Последняя в связи с распространением в болгарских землях денежной ренты значительно стимулировала развитие рынка. Изучение болгаро-итальянских торговых отношений приводит автора к выводу, что в XIII—XIV вв. они развивались по восходящей линии и достигли своего апогея во второй половине XIV в. При этом исследователь не склонен считать, что деятельно в иностранного купечества держивала экономическую активность в болгарском городе. Напротив, рост и усиление позиций многих городов связаны с укреплением торговых контактов с итальянскими республиками.

В главе «Политическая роль города во Втором Болгарском царстве» (с. 91—117) уделено внимание таким вопросам, как место городов в административной системе, значение некоторых из них как центров самостоятельных феодальных владений, роль городов как средоточия церковной жизни. Подробно рассматривая систему апапжей, широко раздававшихся представителям династии Асеневичей, а также положение отдельных провинциальных центров, становившихся настолько самостоятельными, что к ним применим термин «феодалная столица», автор полагает, что политическая роль болгарских городов в борьбе центробежных и центростремительных тенденций всецело определялась позицией городской феодальной верхушки, структура которой показана достаточно полно. Роль города как церковного центра в этом очерке сведена к краткому описанию перемен в системе административно-церковного

деления болгарских земель, что, разумеется, не исчерпывает существа проблемы. Возведение города в ранг епископии или митрополии являлось результатом взаимодействия нескольких факторов, среди которых не только политические, отмеченные автором, но также канонические и экономические, связанные с материальным обеспечением кафедр и состоянием храмов и монастырей города. Большого внимания заслуживает в связи с тем же сюжетом политика константинопольской патриархии на Балканах.

В главе «Социальная топография и облик города» (с. 118—140) содержится характеристика пестрого социального состава горожан: феодалов и служащих административного аппарата, воинов, духовных лиц, рядовых жителей. Автор полагает, что сложный состав городского населения свидетельствует об отсутствии специфического сословия горожан. Город выступал как конгломерат корпоративных общностей, среди которых по источникам более четко выделяется церковный приход, отличавшийся определенной социальной гомогенностью и наделенный некоторыми административными и общественными функциями. По мнению Д. И. Польянского, приход был основной, если не единственной, формой социальной организации населения. Рассматривая положение приходского духовенства, автор, на мой взгляд, существенно обидлив содержание сюжета, не использовав византийские материалы, старательно собранные Б. Ферьянчием [3]. Завершает главу анализ пространственного оформления города, тесно связанного с его экономическим и политическим развитием.

Заключительный очерк книги посвящен роли города в культурной и духовной жизни Второго Болгарского царства (с. 141—163). Автор касается общих тенденций развития городской культуры, связанных с процессом феодальной децентрализации страны, что нашло отражение в складывании наряду с Тырновом ряда местных культурных центров. Отыскивая в мировоззрении горожан слабые следы формирования собственно городской культуры, автор отмечает, что нет возможности говорить о «бюргерском» в европейском смысле сознании, а те элементы рационализма и гуманизма, которые видят некоторые авторы в отдельных проявлениях общественной жизни и художественных произведениях, не могут рассматриваться как зачатки Ренессанса.

Рецензируемую книгу можно рассматривать как развернутое приглашение



к дискуссии о судьбах средневекового болгарского города. Видимо, так и была она воспринята в Болгарии, где на нее молниеносно появилась гиперкритичная и тенденциозная рецензия [4]. Полагаю, исследование Д. И. Полювяннова еще не раз станет объектом пристального внимания. Причина тому — значение книги для изучения локальных особенностей развития средневекового города не только в балканском, но и европейском масштабе. Следует надеяться, что монография внесет свежую струю и в статичный мир современной болгарской урбанистики.

*Барбанов Н. Д.*

*МАРОЈЕВИЋ Р. Лингвистика и поетика превођења: међусловенски превод.* Београд, 1989, 238 с.

*МАРОЕВИЧ Р. Лингвистика и поэтика перевода: межславянский перевод*

Новая книга известного югославского филолога Р. Мароевича, посвященная концептуально важным проблемам литературно-художественного перевода, представляет собой синтез исследований автора в теории, истории и критике перевода (см. список работ с. 235—236). В рецензируемой монографии Мароевич сочетает теоретические исследования с конкретными наблюдениями и анализом фрагментов переводов различных литературных произведений, выступая как бы в двух ролях: как теоретик, предлагающий оригинальные гипотезы и формулировки, свою систему классификаций, и как практик, скрупулезно анализирующий соответствие языка перевода языку оригинала на самых разных уровнях: лексическом, морфологическом, синтаксическом, семантическом и др. Такое совмещение теоретического и практического планов, четкость систематизации языковых явлений, связанных с проблемами перевода, делают аргументированными общетеоретические выводы Мароевича, приводимые в конце каждой главы.

Книга состоит из Введения (с. 7—9) и трех основных глав: Лексико-грамматические проблемы перевода (с. 11—105); Проблемы перевода поэтического образа (с. 107—177); Фонические и ритмические проблемы перевода (с. 179—232).

Во Введении основное внимание уделено классификации трех уровней анализа, применяемых в теории перевода (что было ранее разработано автором). Трех

1. *Лишев С.* Българският средновековен град. Обществено-икономически облик. София, 1970.
2. *Vlachos Th. N.* Die Geschichte der byzantinischen Stadt Melenikon. Thessaloniki, 1969.
3. *Ферјанчић Б.* Оглед о парохийском свештенству у позној Византији.— ЭРВИ, 1983, т. 22, с. 59—117.
4. Исторически преглед, 1989, № 6, с. 91—94.

уровням анализа соответствуют и три главы монографии. Первый базовый уровень включает проблемы, общие как для литературно-художественного перевода, так и для перевода вообще. Сюда входят лексико-семантические и фразеологические проблемы транскрипции и словообразовательно-грамматической адаптации антропонимов и топонимов, вопросы грамматики. На втором уровне анализа исследуются проблемы перевода собственно художественного образа: это анализ системы символов, сравнений, параллелизмов и т. п. Третий уровень касается специфических проблем перевода стихотворного текста, отражения размера, мелодики и ритмики стиха, важных как с точки зрения сохранения формы, так и для обеспечения максимально точной передачи семантики.

Возможно, подобное классификационное деление не бесспорно, однако его преимущество и оригинальность видятся в том, что язык текста перевода описывается в трех основных измерениях, присущих любому литературному произведению: лингвистическом, литературоведческом, семиотическом. Автор специально оговаривает тот факт, что в монографии комбинируются методы лингвистического и поэтического анализа (с. 9). Таким образом, перед нами несомненно комплексное исследование: синтез теории и практики, с одной стороны, лингвистики и поэтики — с другой. Думается, что подобная универсальность, дающая воз-

возможность взглянуть на перевод как на текст сразу с нескольких принципиально важных позиций, вполне соответствует намечающейся ныне тенденции к филологизации, т. е. к сближению лингвистических и литературоведческих изысканий. Можно сказать, что методологически книга Мароевича примыкает к работам по структуре текста. Семантико-семиотическое осмысление текста, предпринятое Мароевичем, представляется весьма перспективным именно с точки зрения восстановления единства филологии, которую в последнее время старательно пытались расчленивать на независимые, предельно удаленные друг от друга дисциплины. (Апогеем такого дробления у нас в стране стало обязательное деление студентов филологических факультетов университетов на лингвистов и литературоведов, практически исключающее возможность заниматься и тем, и другим, или чем-либо промежуточным, общим и для лингвистики, и для литературоведения.) Поэтому книгу Мароевича следует расценивать как шаг к возрождению филологии в классическом смысле этого термина, к филологии качественно иного, обновленного состояния.

Рассматривая лексико-грамматические проблемы перевода, Р. Мароевич вводит понятие «переводной семантизации» (преводна семантизација), т. е. «семантизация лексики оригинала лексическими средствами языка перевода» (гл. 2, с. 13). Автор условно делит все лексико-семантические проблемы перевода на две группы. К первой относятся проблемы перевода, возникающие вследствие специфических семантических отношений в лексической системе языка оригинала. Это — внутренняя проблема текста-источника, разрешение которой заключено в правильном и корректном проецировании этих черт языка оригинала на плоскость языка перевода. Вторая группа проблем обусловлена соотношением лексических единиц в языке оригинала и перевода. Это — проблема внешняя, двусторонняя. Эти соображения автор иллюстрирует анализом различных переводов с русского на сербохорватский и с сербохорватского на русский (произведения Блока, Бунина, Распутина, Лалича, Сельмовича и др.).

Как случаи, представляющие главную трудность для переводчика художественного текста, автор выделяет проблемы, связанные с полисемией, омонимией, паронимией, лексико-семантическими оппозициями. Иллюстрацией актуальности

этих проблем служат примеры неправильного перевода лексем или лексических конструкций. В случае с полисемией наиболее частой является ошибка, вызванная неправильным выбором лексического эквивалента в переводе. Обычно это происходит из-за недостаточного внимания к контексту. Так, примером подобной неточности служит фрагмент перевода «Живи и помни» Распутина: «...Таня убиралась в госпитале...», «...Док же Тања одлазила из болнице...». Очевиден неправильный выбор эквивалента, поскольку в контексте глагол *убираться* имеет значение 'чистить, поспрёмати просторије', а не 'одлазити' (с. 13—14).

Как пример, вызывающий трудности из-за внутриязыковой омонимии оригинала, автор приводит варианты сербохорватского перевода русского слова *тьма* в контексте блоковских «Двенадцати»: «— Кто там машет красным флагом? / — Приглядишься-ка, эка тьма!» Возможны два основных варианта перевода: 1) тьма как отсутствие света, мрак; 2) тьма — большое количество, множество. К первому варианту контекстуальной интерпретации в сербохорватском переводе этого фрагмента склонялись Кунина-Александр, Пешич (*мрак*), Шолян и Сламниг (*тьмина*), Булатович (*тама*) и др. Иначе интерпретировали и переводили этот отрывок Бадалич (*цијели народ иде*) и Стойнич (*маса света*) (с. 18).

Проблемы паронимии при переводе связаны с формальным сходством однокоренных слов в языке оригинала, которые, однако, имеют разное значение как следствие префиксации или суффиксации. В плоскости русско-сербохорватского перевода такими паронимами могут, например, быть глаголы *оказаться* 'показати се' и *показаться* 'учинити се, изгледати', *попросить* 'замолити' и *спросить* 'упитати' и др. (с. 20—21).

Проблема лексико-семантических оппозиций заключается в том, что если такая оппозиция есть в языке оригинала (ср., например, *изба-дом*), то она обязательно должна быть сохранена и в переводе (*селячка кућа — господска кућа*) (с. 21).

Следующая группа лексико-семантических проблем, обусловленная взаимным соотношением лексико-семантических единиц языка оригинала и перевода, включает в себя вопрос о межъязыковых омонимах (в отличие от внутриязыковых, см. выше) и о лексическом калькировании.

Мароевич дает определение межъязы-

ковых омонимов как «слов двух языков, которые одинаково или очень похоже пишутся (омографы) и/или произносятся (омофоны), но семантически не соответствуют друг другу» (с. 22). Это — так называемые «ложные друзья переводчика». Здесь особенно ярко проявляется специфика именно «межславянского» перевода или, более широко, перевода произведения на язык той же языковой группы, что и язык оригинала. Иллюстрацией такой межязыковой омонимии являются приводимые автором в контексте конкретных переводов омографы и омофоны: *заговаривать* и *заговарати*, *корысть* и *корист*, *стыд* и *стид* и др. (с. 22 и сл.).

Лексическое калькирование, т. е. употребление иноязычного слова вместо соответствующего эквивалента, вызвано, по мнению Мароевича, двумя факторами: языковой интерференцией и невозможностью реализации полностью адекватной языковой семантизации (с. 26).

Мароевич рассматривает также фразеологические проблемы перевода (с. 28—34) — вопрос традиционно сложный и существующий столько же лет, сколько существует само искусство перевода. Здесь автор сознательно отходит от теоретизации проблемы и с чисто практическими целями анализирует переводы некоторых фразеологизмов.

Мароевич останавливается также на вопросе перевода безэквивалентной лексики (историзмы и под.) на примере сербохорватской общественно-политической терминологии, а именно, на примере перевода на русский язык лексемы *самоправни*. Нам представляется, что этот раздел (с. 35—46) наименее удачен и выпадает из общего контекста монографии. Тема, на наш взгляд, частная и мало существенная на фоне теоретических исследований автора.

Важными представляются проблемы транскрипции, перевода, словообразовательной и грамматической адаптации антропонимов и топонимов. Мароевич дает подробный анализ научной литературы по этому вопросу (с. 47—49) и рассматривает конкретные проблемы, начиная с уровня графем и фонем: передача русских *н'*, *л'* (ср. с.-х. *Романенко* и *Романенко*, *Јаковлев* и *Јаковљев* и др.), передача русского *щ* как *шћ* или *шч*, русского суффикса *-ич* как *-ић* или *-ич* и др., передача и склонение русских фамилий на *-ий* (*Белински* или *Белинскиј*) и т. п. (с. 50—56). Во всех подобных спорных случаях транскрипции, трансли-

тации, грамматической адаптации иноязычных слов, несомненно, должна действовать единая унифицирующая система.

Грамматические проблемы перевода автор предлагает систематизировать по тематическому и типологическому критериям. К тематическим проблемам относятся, во-первых, вопросы адекватного перевода грамматических форм (например, русское *не сможешь* надо переводить не *не можеш*, а *нећеш моћи*, с. 60), а, во-вторых, вопросы, связанные с выражением понятийных или семантических категорий (пространственных и временных отношений, цели, количественности, посессивности, качественности, социативности, отрицания, утверждения и т. п.). Все вышперечисленные случаи иллюстрируются примерами (с. 60—66). В основе типологической классификации лежат, как считает Мароевич, три типа проблем перевода: 1) являющиеся результатом соотношений в грамматической системе языка, с которого осуществляется перевод; 2) являющиеся соотношением грамматических систем языка оригинала и перевода; 3) перевод синтаксически конденсированных фрагментов текста (с. 66 и сл.).

Следующая часть, а фактически вторая половина книги (разделы 3 и 4), является исследованием в области поэтики. В рамках проблем перевода поэтического образа Мароевич рассматривает символику названия (анализ всех сербохорватских и прочих славянских вариантов перевода названия поэмы Блока «Двенадцать», с. 109—118). Прием иронической замены названия анализируется на примере многочисленных сербохорватских переводов названия романа Достоевского «Подросток» (с. 124—136).

Затрагивается также проблема специфических отношений между прямым и переносным значением заглавия и его правильного перевода (с. 137—139) на материале русского перевода названия романа Селинговича «Гвђава».

Одним из наиболее интересных и перспективных разделов книги представляется фрагмент, посвященный переводу символа (с. 142—157) на примере «Двенадцати» Блока. Здесь подробно исследованы не только переводы и их адекватность оригиналу, но и текст самого оригинала. Это случай, когда автор в своем анализе идет не от перевода к подлиннику, а от подлинника к переводу. Мароевич заключает, что основой символики поэмы является *ц в е т* (с. 142). Вся поэма соткана из трех цветов: черного, бе-

лого и красного. Черный воспринимается как символ старого мира, красный — «огонь революционного пожара», белый — символ чистоты (с. 144). Различные переводы «Двенадцати» рассматриваются в свете того, насколько в них сохранена семантика соответствующих символов. В итоге Мароевич приходит к неутешительному выводу, что везде этот слой весьма сильно искажен (с. 157). Раздел о символе важен и в контексте современных филологических штудий. В свете новых работ по поэтике и структуре текста проблема не только лексической, но и семантической адекватности перевода и оригинала приобретает особое значение. Мароевич косвенным образом дает ответ на два главных вопроса, возникающих в подобной ситуации: в подобных случаях предпочтительно исходить из оригинала, а не из перевода (указание исследователю) и следует добиваться адекватности перевода не только на лексическом и грамматическом, но и на семантическом, в широком плане, уровне (указание переводчику).

В последней главе книги наибольшего внимания, на наш взгляд, заслуживает раздел, в котором с точки зрения ритмики, мелодики и структуры стиха подробно и методично разбираются разные переводы «Двенадцати» Блока (переводы Винавера, Бадалича, Кунины-Александера, Пешича, Шоляна и Сламнига, Булатовича, Витеза). Здесь, с одной стороны, анализируется блоковская «музыка мира», а с другой, исчерпывающим образом исследуются сербохорватские переводы «Двенадцати» на метрическом и ритмическом уровне. (К сожалению, автор не упоминает классические работы М. Л. Гаспарова по истории русского стиха.)

Выше уже отмечались несомненные достоинства книги Р. Мароевича: сочетание теоретических и практических исследований, синтез лингвистики и поэ-

тики. К этому можно добавить прекрасное владение литературным материалом, глубокое чувство языка. Это не случайно, поскольку автор не только теоретик, но и переводчик-практик (в соавторстве с М. Мароевич он перевел роман Достоевского «Подросток»: (F. M. Dostojevski. Dečko. Beograd, 1986).

В то же время хотелось бы обратить внимание на некоторые детали, несколько нарушающие цельность книги. При всех преимуществах соединения теоретических концепций с практическими наблюдениями, сами швы между ними должны быть менее заметны: хотя предлагаемая монография основана на более ранних работах автора, все же это единая книга. Однако иногда создается впечатление, что композиция книги недостаточно пропорциональна: наряду с обширными теоретическими главами, подкрепленными конкретным материалом (от транслитерации, графики, фонетики до семиотики) представлены фрагментарные заметки, выпадающие из общего теоретического контекста всей книги.

Возможно, особо следовало бы остановиться и на подзаголовке «Међусловенски превод». Необходимо оговорить, что хотя в ряде случаев Мароевич прибегает к аналогам из других славянских языков (с. 118—122 и др.), в основном трактуется один аспект перевода, а именно: русско-сербохорватский (или сербохорватско-русский).

Несмотря на эти незначительные замечания книга Р. Мароевича «Лингвистика и поэтика перевода» вне всяких сомнений является фундаментальной теоретической работой, намечающей весьма перспективные тенденции в комплексном филологическом исследовании как языка оригинала художественного произведения, так и языка перевода.

*Михайлов Н. А.*



## КОНФЕРЕНЦИЯ «СЛАВЯНЕ И ИХ СОСЕДИ», ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. Д. КОРОЛЮКА

Институт славяноведения и балканистики АН СССР (ИСБ) провел 4—6 марта 1991 г. очередную Всесоюзную конференцию цикла «Славяне и их соседи». В этом году она была посвящена проблеме «Католицизм и православие в средние века» и приурочена к 70-летию со дня рождения выдающегося советского слависта В. Д. Королюка. Тема конференции актуальна для всего региона Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы, где на протяжении веков сталкивались и взаимодействовали две основные христианские конфессии, что наложило отпечаток не только на религиозную, но и на политическую, социальную и культурную жизнь и этническое развитие данного макрорегиона. Естественно, что основное внимание было уделено вопросу об униях, приобретшему в наши дни особое общественно-политическое звучание.

Открывая конференцию, чл.-корр. АН СССР Г. Г. Литаврин (Москва) обратил внимание на актуальность ее тематики, необходимость объективного исторического подхода к проблеме конфессионального раскола славянства, неизученность глубочайших взаимосвязей между этнической и конфессиональной принадлежностью на уровне как этно-социальных общностей, так и индивидуального сознания.

Ряд докладов был посвящен богословским аспектам полемики между православными и католиками в XI—XVII вв. — выступления В. М. Лурье (Ленинград), М. А. Бусыгиной (Ленинград), М. В. Бибикова (Москва). Особенности восприятия представителей одной из конфессий глазами противоположной стороны затронули С. А. Иванов (Москва) (западное и восточное монашество) и И. Ф. Макарова (Москва) (восприятие католиков болгарами). Социально-политические аспекты контактов представителей разных конфессий осветили Е. А. Мельникова

(Москва) (культ св. Олава в Новгороде), А. В. Рандин (Йошкар-Ола) (гуситы и восточное христианство), В. Б. Перхавко (Москва) (археологические данные о контактах Руси с католическими странами в XI—XIII вв.), Н. Ф. Котляр (Киев) (борьба Даниила Галицкого с крестоносцами), И. О. Князький (Коломна) (католицизм и православие в Карпато-Дунайских землях в XIII в.). Проблематику взаимоотношений греческой, армянской и грузинской церквей, в особенности отношение к халкидонитам, затронула В. А. Арутюнова-Филанян (Москва). На вопрос «ромеофильства» в Болгарии в XIV в. обратил внимание в своем выступлении Л. И. Польшвинный (Иваново).

Большинство докладов было посвящено проблематике уний. Н. Д. Балабанов (Волгоград) осветил идейно-политическую борьбу в Византии по поводу Лионской унии. Е. М. Ломизе (Москва) рассмотрел проект унии 1367 г. в контексте политики Константинопольского патриархата на Балканах. Многие доклады и выступления затрагивали широкий круг вопросов, связанных с Брестской унией 1596 г. Б. Н. Флоря (Москва) осветил ход подготовительных совещаний духовенства, предшествовавших собору. Развитие идеи синтеза церквей на Украине на протяжении XIV—XVII вв. проследил Г. Н. Виноградов (Днепропетровск). На отношении православной иерархии Речи Посполитой к планам церковной унии в конце XVI в. остановился С. Г. Яковенко (Москва). Истории униатской церкви в контексте проблемы Восток — Запад был посвящен доклад С. Н. Плохия (Днепропетровск). На интересное явление в жизни Украины — православные церковные братства мирян — обратил внимание Я. Д. Исаевич (Львов). Полемическую деятельность киевского митрополита Петра Могилы рассмотрел А. И. Рогов (Москва). Религиоз-

но-культурная и социальная программа греко-католической церкви Речи Посполитой привлекла внимание М. В. Дмитриева (Москва). О католичестве и униатстве в Черниговском воеводстве рассказал в своем выступлении Ю. Н. Куракин (Москва). А. А. Турилов (Москва) проанализировал обнаруженное им послание князя К. К. Острожского патриарху Иову, дающее интересный материал по истории проектов ликвидации Брестской унии.

Доклады литовских ученых были посвящены религиозно-политической ситуации в Великом княжестве Литовском. Р. Гирконтас остановился на попытках осуществления церковной унии в Литве в XV в., подчеркнув, что религиозная толерантность в княжестве имела истоками традиции языческой веротерпимости. З. Кяупа показал, что католики и православные в городской общине Вильнюса в XIV—XVI вв. пользовались равными правами. Роль писарей Великого княжества Литовского в идеологической борьбе с Русским государством в начале XVI в. осветил Э. Банёнис.

Историографическим вопросам было посвящено два доклада. Л. А. Софронова (Москва) дала анализ романтической концепции противостояния двух церквей в «Лекциях» Адама Мицкевича; С. И. Муртузалиев (Махачкала) рассмотрел подход выдающегося чешского историка К. Иречека к освещению роли католических стран в Первом Тырновском восстании.

В оживленной дискуссии отмечалось, что, несмотря на разницу в оценках такого явления, как уния, конференция продемонстрировала отказ от старых стереотипов и идеологической предвзятости, показала многоаспектность избранной темы и необходимость дальнейшего изучения причин жизнеспособности унии, а также контекста этнических контактов в регионе.

Специальное мемориальное заседание было посвящено 70-летию со дня рождения В. Д. Королюка. Открывая его, директор ИСБ В. К. Волков отметил вклад В. Д. Королюка в советское славяноведение, в организацию научной жизни института. Он отметил актуальность возвращения к тому пониманию славяноведения, которое отличало В. Д. Королюка, т. е. к комплексной науке, к интегральной модели славяноведения, включающей все восточное славянство. Ученики и коллеги В. Д. Королюка Б. Н. Флоря, А. И. Рогов, Л. В. Заборовский, В. А. Артамонов поделились воспоминаниями о нем, осветили разные стороны его многогранных научных интересов, особо подчеркнув его стремление к научной объективности. В. Д. Королюк проявлял большой интерес к проблемам славянской культуры, причем как к древнейшим ее пластам, так и к поздним, тогда малоисследованным, например, крестьянской иконе XIX в. Я. Д. Исаевич рассказал о доброжелательном отношении В. Д. Королюка к национальным движениям малых народов, его интересе к истории Украины, понимаемой как интегральная часть истории славянских народов. Художник А. С. Чернов указал на большое значение для художников-графиков деятельности В. Д. Королюка как коллекционера и мецената. Л. А. Софронова говорила о совмещении научного и художественного видения мира, обусловившем своеобразие личности В. Д. Королюка, всегда становившегося центром притяжения талантливых людей науки и искусства.

Участники конференции могли предварительно ознакомиться с тезисами докладов, изданными в специальном сборнике. Полные тексты докладов будут опубликованы Институтом славяноведения и балканистики АН СССР.

*Мельников Г. П.*

## В КОНТЕКСТЕ МЕЖСЛАВЯНСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

6 октября 1990 г. Ужгородский госуниверситет отметил свое 45-летие. В программе мероприятий к юбилею проведена и научная конференция «Интеллигенция Закарпатья XIX в. и развитие гуманитарных наук в контексте межславянских взаимосвязей». В подготовке и проведении конференции приняли участие Институт

славяноведения и балканистики АН СССР и Закарпатская областная организация Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Были приглашены ученые из различных научных учреждений и учебных заведений СССР, ЧСФР, Югославии и Болгарии. Всего на конференции выступило более 75 ученых,

представлявших Институт славяноведения и балканистики АН СССР, Институт истории АН УССР, Институт общественных наук УССР во Львове, Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Т. Рыльского АН УССР, Московский, Киевский, Львовский, Донецкий, Черновицкий университеты, Винницкий, Тернопольский пединституты, Институт исторических наук Словацкой Академии наук, Кошицкий университет (ЧСФР) и Музей украинской культуры в Свиднице (ЧСФР).

За прошедшие 45 лет ученые Ужгородского университета внесли немалый вклад в изучение истории и культуры Закарпатья XIX в. Однако следует признать, что значительно больше сделали в этом плане ученые Восточной Словакии ЧСФР. И только перестройка дала возможность украинским ученым по-новому подойти к этой важной теме, с позиций современного развития гуманитарных наук оценить роль интеллигенции Закарпатья XIX в. в развитии науки и культуры, в укреплении межславянских связей.

Доклады и сообщения можно подразделить на несколько групп, причем преобладали исторический и литературоведческий аспекты. Конференцию открыл ректор университета В. Ю. Сливка, а основной доклад на первом пленарном заседании сделал И. И. Мигович «История общественной мысли Закарпатья XIX века в свете современных реалий».

В докладах В. Е. Задорожного и О. С. Мазурка рассмотрен вопрос формирования интеллигенции Закарпатья в XIX в., ее качественный рост, национальный состав, уровень образования, полученного в Праге, Нови-Саде, Сату-Маре, Вене, Львове, Киеве, Москве и т. д. И. А. Мандрик проследил в своем сообщении влияние национальной политики правительства Венгрии во второй половине XIX в. на формирование интеллигенции Закарпатья, ее раскол и национальную деградацию.

Национальное и культурное возрождение, как правило, сопровождается пристальным вниманием его деятелей к национальной истории. Эту сторону рассмотрели в своих докладах и сообщениях о деятельности А. Духновича, А. Павловича, А. Добрянского, Е. Фендика, Т. Легодко—Д. Д. Давилук, Н. И. Выгоданец, Э. А. Балагури, В. В. Гомонай, Ю. И. Поп.

О. З. Рыбак, Т. С. Полищук и В. И. Падяк, анализируя творческое наследие

А. Кралицкого, обратили внимание на интересное явление — наиболее раннее включение закарпатоукраинской интеллигенции в процесс национального возрождения, интегрированный в силу государственно-политических условий с конца XVIII в. в общеевропейские и средне-европейские процессы. Однако социально-политическая ситуация в Закарпатье не позволила развить импульсы, рожденные французской революцией, и эстафета идей национального возрождения с 30-х годов XIX в. переходит в Галицию (Г. В. Павленко). В этот период наблюдаются широкие контакты закарпатской интеллигенции в Карпато-дунайском регионе (И. М. Гранчак, Г. В. Павленко, И. А. Дзендзелевский, П. Н. Лисовой, Я. И. Штернберг, В. В. Палек); с другой стороны, к Закарпатыю проявляют интерес деятели украинского национального возрождения Я. Ф. Головацкий (З. М. Матисякевич), М. Драгоманов (П. Гапак, Ин-т исторических наук САН).

Лучшие представители закарпатской интеллигенции, не найдя применения своим творческим способностям на родине, с начала XIX в. уходят в Россию. Получив образование в университетах Австрии, Германии и Италии, они принесли в Россию передовые идеи в области политэкономии, юриспруденции и философии (М. Балудянский, П. Лодий), здравоохранения и школьного дела (И. Орлай), агрономии (В. Кукольник). Вкладу этих ученых в развитие российской науки были посвящены доклады А. К. Лысого, Л. С. Анохина, С. М. Злубко, С. М. Голубки; Т. Байцуры (Кошицкий ун-т, ЧСФР).

А. Ковач (ЧСФР) в своем докладе проанализировал деятельность словацких и украинских интеллектуалов в России в 60—70-х годах XIX в., показал их практическую работу в области народного просвещения. Заслуги закарпатских ученых еще, к сожалению, недостаточно оценены современной наукой, что объясняется слабой степенью системного изучения их наследия. А отсюда — неточности и прямые ошибки, встречающиеся в исследованиях по истории общественного движения и культуры XIX в. Несмотря на многочисленные публикации о жизни и деятельности, например, Ю. И. Венелина, здесь имеется еще немало пробелов. Поэтому закономерен интерес к докладу Н. С. Шумады «Малозвестные страницы деятельности Юрия Венелина как украинского фольклориста».

Большой интерес вызвали доклады и

сообщения о роли греко-католического духовенства и монастырей Закарпатья в развитии культуры и просвещения. И. Г. Шульга, М. Н. Болдичар остановились на экономической стороне деятельности монастырей как образцовых для своего времени хозяйств.

С. В. Виднянский и И. И. Поп обратили внимание участников конференции на сложность проблемы национального самосознания русин-украинцев Закарпатья, отличия исторической психологии и менталитета у них и у украинцев Западной и Восточной Украины.

«Проблема словесности в кругу научных интересов интеллигенции Закарпатья XIX в.», «Интеллигенция Закарпатья XIX в. в контексте взаимодействия славянских народов» — таковы были темы заседаний двух секций, охватывающие целый ряд вопросов языковедческого, литературоведческого и фольклорно-этнографического характера.

В докладах зарубежных гостей, ученых из ЧСФР — Ф. Ковача («Влияние литературных традиций Закарпатья XIX в. на творчество Ю. Боролича и его место в закарпатоукраинском литературном процессе»), М. Романа («Закарпатские писатели в контексте украинско-словацких культурных связей»), Л. Баботы («Письма Юрия Жатковича к Владимиру Гнатюку»), а также Т. Байцуры («Закарпатоукраинская интеллигенция в России в первой половине XIX в.» — это сообщение было оглашено от имени докладчика) рассматривались вопросы взаимодействия культур славянских народов, общественно-политические предпосылки плодотворной деятельности выходцев из Закарпатья в странах Восточной и Центральной Европы, в первую очередь, в России.

Л. Н. Смирнов в докладе «К вопросу о словацко-украинских культурных связях в контексте истории Закарпатья XIX в.» остановился на малоизвестных страницах летописи словацко-украинских культурных взаимосвязей в эпоху национального возрождения. Примечательный факт: один из лидеров словацкого национально-возрожденческого движения Л. Штур проявлял живой и глубокий интерес к украинской культуре и особенно — к поэзии Украины. Как и Я. Франциски Римавски, он призывал изучать «неоценимые украинские думы». Докладчик привел интересные сведения о личных контактах Богуща Носака, одного из видных соратников Л. Штура, с М. Лучкаем, который, по словам сло-

вацкого поэта, отличался «самой приветливостью и человечностью».

В докладах М. Ю. Досталь («Про блемы закарпатского возрождения XIX века в трудах ученых российского зарубежья») и В. В. Усачовой («Закарпатские корреспонденты Я. Ф. Головацкого») было показано на ряде содержательных примеров внутреннее родство творчества деятелей Закарпатья и представителей демократического просветительства Украины и России, к примеру, М. Драгоманова.

В этом плане логическим дополнением воспринимались исследования О. П. Куцой («Михаил Драгоманов и национально-демократическое движение в Закарпатской Украине»), а также М. В. Леоновой, А. П. Загнитко («Закарпатье в оценке М. П. Драгоманова»).

Г. В. Демьян привел в своем содержательном докладе малоизвестные отзывы общественного и политического деятеля А. Волошина (1874—1945) о педагогическом и художественном наследии А. Духновича (1803—1865). Тема, предложенная волошинским ученым, только в условиях перестройки и гласности начинает привлекать к себе все большее внимание исследователей. Кстати, филологические исследования участников форума касались не только XIX, но и XVIII в., «прорывались» и в XX — яркий пример тому выступление Г. В. Демьяна, а также прочитанные доклады Ю. И. Балеги («Традиции А. Духновича в творчестве В. Грендж-Донского»), Н. С. Ференц («А. Духнович и славянский мир»), С. С. Бобинца («Античные источники — основа научных поисков Михаила Лучкая»), И. М. Сенько («К вопросу об аутентичности записей фольклора в „Граматиці слов'яно-руській“ М. Лучкая»), Ф. А. Кули — И. И. Долинина («Ю. К. Жаткович — переводчик и пропагандист украинской литературы в Закарпатье»), В. Е. Задорожного и Н. И. Зимомри («В. Г. Кукольник — видный представитель интеллигенции Закарпатья»), Т. М. Чумак («Проблемы гуманизма и просветительства в творчестве А. И. Павловича») и др.

Вне сомнения, ужгородской конференции были присущи новые подходы к стоявшим оценкам. Своими наблюдениями о проблематике конференции поделились В. М. Гладкий («К проблеме единения славянских литератур»), П. П. Чучка («Николай Теодорович как просветитель и ученый»), Н. И. Зимомря («Неизвестная статья о Ю. И. Венелине — страница к истории украинско-немецко-болгарских культурных взаимосвязей»),



В. Ю. Васовчик («Украинско-венгерские литературные взаимосвязи XIX века»), М. Г. Бочко — И. П. Мегела («Мотивы Закарпатья в эмиграционном фольклоре США и Канады»), Б. П. Бендзар («Закарпатье в кругу творческих интересов И. Франко»), В. И. Падяк («А. Ф. Кралицкий как составитель сборников „Народное чтение“»).

Доклады и выступления участников конференции вызвали оживленную дискуссию, в которой приняли участие И. Г. Шульга, Я. И. Штернберг, Л. Н. Смирнов, Н. С. Шумада, Ф. Ковач, М. Роман, П. Гапак, А. Ковач, Л. Ба-

бота, И. М. Гранчак, И. И. Поп, С. В. Грабовская, М. Ю. Досталь, Н. И. Выгоданец, С. М. Злупко, Н. И. Зимомря, В. М. Градкий, М. Н. Зейкан, О. З. Рыбак, В. В. Туряница, В. И. Падяк, Н. Э. Медвидь, О. В. Гузар, П. Н. Лизанец, Я. М. Лопушанский, а также специальный корреспондент «Литературной газеты» А. И. Сабов.

Состоялось и выездное пленарное заседание в Сваляве, на родине Ю. И. Гуцы-Венелина.

*Гранчак И. М., Зимомря Н. И.*

## ДВИЖЕНИЕ «EUREGIO» В НОВОЙ ЕДИНОЙ ЕВРОПЕ, РУКОВОДСТВУЮЩЕЙСЯ ПРИНЦИПАМИ СОТРУДНИЧЕСТВА

В новой европейской политике, на которую оказала решающее влияние внешняя политика СССР, в 1989 г. наступил радикальный перелом в сторону возобновления европейского единства. Спустя ровно 50 лет Венгрия, Польша и Чехословакия вновь вступили на традиционный путь своего развития, прерванный в 1939 г. насильственным вмешательством извне. Учитывая изменения, произошедшие в этих странах за последние полвека, каждый понимает, какой сизифов труд взяли на себя их новые руководители. Крушение прежних режимов произошло в 1989 г. также в Румынии и Болгарии, но процесс развития здесь еще не закончен. В состоянии брожения находятся Югославия и в еще большей степени Албания, чей «национальный», освободившийся от прямого советского влияния «социализм», претерпевает под усиливающимся внутренним давлением серьезные изменения.

В процессе обновления и преобразования Центральной Европы произошло окончательно исчезновение ГДР, искусственно созданной в советской зоне оккупации Восточной Германии. Ее достопамятная берлинская стена, возведенная 13 августа 1961 г., стала отлитым из бетона символом неизменного напряжения отношений между европейским Востоком и Западом. При ее существовании все частные успехи на переговорах между Востоком и Западом выглядели паллиативом, приукрашиванием чудовищной политики изоляции, которая была неприемлема для подавляющего большин-

ства европейцев. Со времени возникновения того политического континента, который называют Европой, т. е. в течение более тысячи лет, нигде в Европе не было столь жестко установленной изоляции в мирное время. Это стало одной из причин, по которой видные ученые и политики до недавнего времени говорили о том, что в Европе можно говорить лишь об отсутствии войны, но ни в коем случае не о подлинном мире. В самом деле, европейская действительность в период между 1939 и 1989 гг. имела мало общего с тем чрезвычайно глубоким пониманием мира, о котором писал И. Кант.

Именно поэтому снесение берлинской стены 9 ноября 1989 г. стало подлинным прорывом к новому политическому облику Европы, означавшим также и конец послевоенного устройства. Эта дата стала бесславным концом изначально порочной политики силы и рождением новой политической реальности, которая должна быть отмечена открытостью и сотрудничеством. (Можно с сожалением отметить, что столь достопамятное для немецкой истории XX в. 9 ноября, день начала безуспешной революции 1918 г. и день печально известного еврейского погрома и поджога синагог в 1938 г., не стал государственным праздником нового немецкого единства, а был выбран парламентским путем день 3 октября — ведь без сомнения 9 ноября 1989 г. более значительное и более народное событие, чем 3 октября 1990 г.).

Организаторы симпозиума исходили в своих планах еще из традиции средне-

вековой государственности в центрально-европейском треугольнике: Бавария — Чехия — Саксония. К началу этой конференции ГДР исчезла и вновь возникла прежняя земля Саксония. Чехословакия тем временем провела преобразования своих границ в соответствии с европейскими стандартами, колючая проволока, смертная казнь и закрытые зоны были отменены. Но еще более важным стало одно событие, которого в Германии ждали многие десятилетия. Президент новой Чехословакии Вацлав Гавел официально выразил свое сожаление по поводу изгнания немецкого населения после второй мировой войны из Чешских земель, где оно проживало в течение столетий. Ведь речь идет о части населения довоенной Чехословакии, которая количественно превосходила словаков и составляла после чехов вторую по численности национальную группу. В то время как все правительства признавали вину немцев за страдания людей во второй мировой войне, принесенные гитлеровским правлением, ни единого слова в подобном духе не было высказано официальной Прагой до 1989 г. Однако табуизация и замалчивание не способствуют сближению, они ему мешают. Это понимал драматург В. Гавел и он достойно выразил свое отношение к прошлому в письме президенту ФРГ фон Вайцзеккеру еще до поворотных событий в Чехословакии 17 ноября 1989 г., и остался верен своему слову также и после своего избрания президентом страны в декабре 1989 г. На такой прочной нравственной основе могла быть предпринята первая попытка регионального сотрудничества — по примеру уже десятилетиями существующих западноевропейских регионов — и на только что открытой границе между Востоком и Западом, где вследствие длительного воздействия «железного занавеса» накопилось слишком много национальных недоумений, как результат их радикального насильственного «разрешения». Все представленные на симпозиуме чешские местности и города были до 1945 г. в значительной степени заселены немцами. Слова извинения нового президента Чехословакии ознаменовали собой начало пересмотра старых фронтов. Противники стали помощниками, чехи и немцы — соседями, берущими на себя ответственность за общую родину в обоих государствах.

Но что означает понятие «Европа регионов»? Прочитируем документ, совместно выработанный представителями ФРГ

и Чехословакии: «„Европа регионов“ означает:

1. Как факт: европейское многообразие, декларируемое во всех выступлениях и заявлениях, не заканчивается внутри национально-государственных границ, оно продолжается и на нижних уровнях — в землях и федеральных образованиях, провинциях, краях с населяющими их людьми, в исторически сложившихся национальных группах, на уровне городов, общин и разного рода объединений.

2. Требование: гражданское единство и демократическое право голоса осуществляется в духе *принципа субсидаритета*, согласно которому при любых масштабных решениях центра в самых разных областях следует помнить, что свобода и самоопределение строятся не сверху вниз, а снизу вверх, и что всякий централизм, чем бы он ни прикрывался, ведет к бюрократической тирании, если его не уравновешивает признаваемый в государстве субсидарный *региональный противовес*.

3. Цель движения: ввиду неуклонно развивающейся европейской интеграции и централизации решений символ Европы — «многообразие в единстве» может быть осуществлен лишь в том случае, если не только суверенные государства, но и *регионы и группы людей внутри отдельных государств и в составе отдельных народов также получают право решающего голоса на европейском уровне*, право решающего голоса там, где будут рассматриваться насущные для них проблемы. Народы и регионы — это нечто большее, чем административные исполнительные органы каких-либо национальных или наднациональных учреждений. Отсюда вытекает *цель создания единой палаты европейских государств и регионов*, которая обладает равными правами с Комиссией, Советом министров и парламентом».

Далее в этом документе говорится:

«Относительно развивающегося регионального сотрудничества, преодолевающего государственные границы, существуют решения Европейского Совета от 1989 г. (САНГ. 89), в которых выделены 22 региона. В целом можно выделить много типов подобной транснациональной кооперации:

1. Многостороннее или двустороннее сотрудничество земель, в котором наибольшую активность проявляет Бавария. Здесь можно назвать комиссию по сотрудничеству альпийских стран (ARGE

Алп), комиссию по сотрудничеству Альпен-Адрья, конференцию глав правительств или департаментов стран региона Боденского озера и Рейна, находящуюся в стадии организации комиссию по сотрудничеству стран Дунайского бассейна и ряд двусторонних договоров в альпийской области и Юго-Восточной Европе. Сюда относятся также комиссия по сотрудничеству кантонов и регионов Западных Альп (СОТРАО), комиссия по сотрудничеству региона Юра, между несколькими швейцарскими кантонами и французским регионом Франш-Конте, и, наконец, так называемый Совет Женевского озера, созданный тремя швейцарскими кантонами и двумя французскими департаментами.

2. Коммунальные комиссии по сотрудничеству, которые в целом в Западной Европе насчитывают уже 33 организации и объединены в комиссию по сотрудничеству европейских пограничных регионов. Два наиболее интересных примера из этой области — *Regio Basiliensis* и *немецко-голландское Euregio*.

*Regio Basiliensis* охватывает область Верхнего Рейна, ограниченную горными массивами Юра, Шварцвальд и Вогезы. Начало ее было скромным, она обеспечивала право граждан на объединение в общественные организации, которое было закреплено после плодотворного сотрудничества на уровне местных и региональных учреждений, и, наконец, в 1975 г. на основании трехстороннего договора между ФРГ, Францией и Швейцарией гарантировано международным правом.

Немецко-голландское „Euregio“ по сей день существует как пример наиболее эффективного сотрудничества, преодолевающего границы, в правовом вакууме, что, однако, не мешает тому, что две нидерландские и одна немецкая коммунальные комиссии по сотрудничеству, объединяющие 92 города и общины и почти 2 млн человек, не только интенсивно сотрудничают, но даже создали собственные исполнительные и парламентские органы (Совет „Euregio“, который создан упомянутыми коммунальными комиссиями по сотрудничеству и подчиненными им округами. В нем с правом совещательного голоса принимают участие также избранные депутаты из федерации и земель этого региона; избранная советом рабочая группа из 18 человек, назначенных на паритетных началах обеими сторонами и в основном состоящая из специалистов коммунального самоуправления, секре-

тариат и большое число отраслевых комиссий, например, по экономике, международным коммуникациям, культуре и т. д.). К задачам „Euregio“ относится развитие регионального самосознания и создание из скромной пограничной периферии важного европейского региона. „Euregio“ уже превратилось в новую модель сотрудничества, преодолевающего государственные границы.

В силу значительных различий в развитии регионального сотрудничества, выходящего за пределы государственных границ, нельзя полагать, что та или иная модель годится на все случаи жизни. Как европейский федерализм нельзя останавливать на уровне национальных государственных границ (против этого обращена Европа регионов), так и регионализм не должен быть лишь вопросом внутреннего членения государств. Это инструмент релятивизации разделительной функции границ внутри Европы. Задача же регионализма — преодоление границ.

Игнорирование интересов земель и регионов со стороны государств, а также особых задач сотрудничества пограничных регионов в его наиболее эффективной институционализированной форме, обнажило бы лицемерность словесных деклараций о единстве в многообразии или многообразии в единстве, и субсидарности как основе европейской константы.

Цели немецко-чешского регионального сотрудничества, выходящего за пределы государственных границ, были определены следующим образом: «После упряднения западно-восточной линии конфронтации между Востоком и Западом, между военными союзами, проходившей по этому региону, после возвращения чешского народа и Чехословацкого государства в Европу, воссоединения Германии и открытия границ внутри данного региона, были совместно выработаны следующие задачи:

а) преодоление экономических различий с соседним Фогтландом, т. е. внутри немецкого государства;

б) преодоление или, по крайней мере, по возможности быстрое снижение экономических различий с соседним чешским пограничным регионом, т. е. на внешней границе Европейского содружества;

в) безотлагательные совместные действия и координация в области охраны окружающей среды и ее очищения, соответственно прекращение ее разрушения, которое не знает границ;

г) юридическое (как это уже произошло в ФРГ) и практико-политическое реше-

ние вопроса о границах путем осуществления идеи сотрудничества без граничных барьеров;

д) решение проблем, возникших в результате изгнания и экспроприации имущества части населения этого региона, как следствие осуществления новой концепции создания объединенного региона, которая обеспечит пострадавшим немцам долю дохода от функционирующих совместных предприятий и инфраструктуры внутри региона, а чешскому населению региона будет гарантировано, что его право на жилище и рабочие места не будут ущемлены. Только взаимное согласие в объединенном регионе между всеми его бывшими и настоящими гражданами положит конец унаследованной от прошлого конфронтации и освободит путь к совместной мирной работе».

Так говорится в немецко-чешском документе, принятом на конференции.

Представляется интересным и полезным применение модели, обрисованной здесь в ее основных чертах, разработанной региональными органами власти по обеим сторонам немецко-чешской границы, совместное с научными учреждениями (университет в Байрейте, Карлов университет в Праге), взявшими за основу заинтересованность немецкого и чешского населения, к устанавливающемуся сотрудничеству между народами и республиками Советского Союза, как между собой, так и с Европой. Глубокий анализ этой большой проблемы может вскоре дать впечатляющие результаты. Европейский опыт недавнего прошлого и современности доказывает, что сначала должен быть достигнут национальный суверенитет каждого народа, и лишь на этой основе может быть осуществлен второй шаг — к международному и межрегиональному сотрудничеству. Он необходим, однако, только в такой последовательности. «Общесоюзные установления», как чрезвычайно выразительно показывает югославский пример, анахроничны и ведут ко все более углубляющемуся кризису, поскольку они подчиняют фиктивному общему интересу объективно существующий, основной жизненный интерес отдельной нации. В близкой перспективе — это путь к застою, в дальнейшей это приводит к насилию и хаосу.

Европейский опыт доказывает далее, что пограничные области, если они становятся областями-мостами, способны чрезвычайно укрепить государство в целом. Пограничная область служит лишь для демонстрации военной силы, область-

мост демонстрирует достижения цивилизации. Наиболее богатые регионы Европы — это бывшие пограничные области: Северная Италия, Юго-Западная Германия, Северная Испания, швейцарский кантон Вазель, французский Эльзас. На симпозиуме эта взаимосвязь иллюстрировалась выразительными примерами: Фогтланд в 1939 г. со своими более чем 60 миллионерами принадлежал, как ностальгически вспоминает теперешний бургомистр фон Плауен, к наиболее процветающим областям Германии. К 1989 г., в результате более чем 40-летней централизованной бесхозяйственности, он потерял 40 000 из 125 000 своих прежних жителей и пришел в упадок как изолированный пограничный регион; подобно этому и положение когда-то баснословно богатой, пользовавшейся всемирной известностью благодаря своим курортам Западной Чехии, еще более усугубленное вынужденной массовой миграцией населения. Здесь также после 1945 г. сложились типичный пограничный регион, развитие которого определялось централизованным и потому ошибочным путем. Новая промышленность разрушила экологическое равновесие, что в свою очередь привело к упадку традиционного курортного туризма в международном масштабе. Вследствие этого регион привлекал лишь «социалистических» отдыхающих. Противоположный пример — прежде почти не известный миру северо-баварский Винкель, до 1945 г., несомненно, гораздо менее развитый, чем саксонский Фогтланд или чешский район Хеба, благодаря активизации коммунального самоуправления достиг небывалого подъема и сейчас в экономическом отношении намного превосходит своих обедневших саксонских и чешских соседей.

Необязательно прибегать к помощи серьезных научных экспертиз, чтобы придти к подобным результатам сравнения западных районов Советского Союза. Речь идет о западных областях Белоруссии, Закарпатской Украине или о совсем уж бросающемся в глаза анахронизме в Центральной Европе — закрытой военной зоне Калининграда, где когда-то был создан великим Кантом труд «О вечном мире» (1795), где учился «друг славян» Иоганн Готтфрид Гердер, о городе «восточных ярмарок» и еврейского радикального демократа Иоганна Якоби. Пренебрегая исторической памятью такого общества, предав забвению великое прошлое этого города, не следует удивляться, что он пришел в полный упадок.

Необходимо противодействовать лжи, восстановить историческую правду и признать ставший на протяжении последних десятилетий бесспорным факт, что военные бастионы, воздвигнутые против совершенно иллюзорного «Дранг нах Остен», порождают духовную и нравственную сумятицу, в то же время открытое общество Запада вынуждено противостоять перманентному натиску с Востока.

Решить эту дилемму не поможет никакая особая экономическая зона, создаваемая с надеждой на скорое валютное про-

цветание — и здесь также второй шаг, сделанный прежде первого, ведет в пропасть — к неслыханной коррупции; второму шагу непременно должен предшествовать первый — признание исторической правды, европейского единства, личной ответственности, национального и регионального самоопределения в составе открытого внутри и снаружи и демократически антицентралистского Союза.

*Большт Ф.*

## АВАНГАРД В ЛИТЕРАТУРАХ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

28 февраля — 1 марта 1991 г. в Институте славяноведения и балканистики АН СССР проводилась конференция «Авангард в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы в первой половине XX в. Специфика. Динамика. Вклад». В работе конференции приняли участие сотрудники Института и ученые из других славистических центров страны.

В течение двух дней участники конференции высказывали свои точки зрения на природу литературного авангарда, его особенности, соотношение с другими течениями и направлениями, анализировали специфику авангарда в странах изучаемого региона. Во вступительном слове зав. сектором славянских литератур ИСБ, канд. филол. наук Л. Н. Будагова подчеркнула, что данная конференция в нашем Институте — первое научное мероприятие, где литературный авангард поставлен в центр внимания. Хотя исследования в этой области велись в секторе славянских литератур и в предшествующие годы, но искусство авангарда рассматривалось лишь в связи с «другими» явлениями культуры XX в., оставаясь в их тени. Под авангардом понимается совокупность ряда новейших художественных течений 10—30-х годов XX в.; сам термин условен, и хотя авангард имеет общие черты с модернизмом, следует разграничить эти понятия. Собственно, это и старались делать многие участники конференции. Среди характерных черт авангарда назывались, в частности, антитрадиционализм, антидекадентский пафос, устремленность в будущее, «технократические» тенденции.

Доклад Л. Н. Будаговой «Авангард и

прогресс» был посвящен месту авангардных течений в литературе XX в. Отметив относительность и неоднозначность понятия «прогресс в искусстве», докладчик видит его связь с авангардом в том смысле, что авангард содействовал обновлению литературы: он расширил пределы допустимого в творчестве, увеличил степень внутренней свободы художника, усилил непосредственность слова.

Дискуссионный тон был задан доктором филол. наук Г. Д. Гачевым, проанализировавшим проблемы авангарда с помощью метода экзистенциальной культурологии. Само название доклада: «Авангард. Взгляд сомневающегося» уже свидетельствовало о подходе автора к материалу. Г. Д. Гачев высказал немало интересных, «провоцирующих» соображений, которые нашли отклик и в рассуждениях других докладчиков, и в дискуссии. В частности, внимание привлекали такие его постулаты, как величественность авангарда, видение авангарда как искусства «маргиналов в социуме». (Д. С. Прокофьева, напротив, назвала авангард «бунтом элиты».)

Д-р филол. наук В. А. Хорев рассмотрел особенности одной из концепций польского авангарда, которая противостояла «оптимистической» линии и, по словам докладчика, выиграла в историческом соревновании. Эта концепция представлена в творчестве Виткевича, Шульца, Гомбровича; ее характерные черты — катастрофизм, ощущение угрозы человеческим ценностям, страх перед толпой, которая растворяет индивидуальность, — были показаны на примере пьесы Виткевича «Сапожники».

Польский авангард в докладах конференции был представлен наиболее подробно. Тем интереснее было услышать суждения об авангарде в других литературах региона, в частности болгарской и сербской. Д-р филол. наук В. И. Злыднев отметил, что термин «авангард» стал применяться к болгарской литературе лишь недавно, и рассмотрел в этом аспекте деятельность Гео Милева. Д-р ист. наук М. Б. Ешич ставил своей целью показать специфику сербского авангарда в связи с неоднородностью культурного развития в европейских странах.

Канд. филол. наук В. В. Мочалова анализировала соотношение искусства авангарда («Освобожденный театр» в Чехии) и современных ему лингвистических исследований (Пражский лингвистический кружок, работы Р. Якобсона). Подобный параллелизм обнаруживается, как указано в докладе, между неоавангардом и структурализмом.

Проф. Ключе (Германия) подчеркнул связь авангарда с символизмом, роль последнего в формировании авангардных течений, что нашло подкрепление в прозвучавших затем докладах.

Д-р филол. наук А. В. Липатов проследил сопряжения авангардного искусства с философскими системами, естественнонаучными достижениями и политическими движениями, начиная со второй половины XIX в. Широта проблематики и материала сочеталась в докладе с известной категоричностью формулировок, на что было указано в дискуссиях. Связи авангардных течений с искусством начала века посвятила доклад Е. Н. Масленникова (на примере венгерского экспрессионизма и активизма). Канд. филол. наук Д. С. Прокофьева рассмотрела взаимоотношения польского романтизма и Краковского авангарда, отметив необходимость критического подхода к манифестам и другим декларациям авангардистов. Мысль о противоречиях между манифестами и творческой практикой звучала и в докладе Е. Н. Масленниковой, и в дискуссионном выступлении В. В. Мочаловой, которая предложила считать манифесты такими же «художественными текстами».

Канд. филол. наук О. Р. Медведева проанализировала сходные черты авангарда и пародии на примере драмы В. Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургундская», истинный смысл которой раскрывается при соотнесении ее с пьесами Шекспира, пародируемыми здесь Гомбровичем.

Д-р филол. наук И. В. Шабловская

(Минск) рассмотрела проблемы соотношения авангарда и творчества современных авторов, указав на непродуктивность жесткого разведения разных течений. В прозе чешского писателя Б. Грабала докладчик выделил элементы различных поэтик, в том числе — сюрреализма, натурализма, экзистенциализма и др. Канд. филол. наук А. А. Гугнин на примере творчества Брехта показал относительность тезиса об антитрадиционализме авангарда; Брехт, как выявлено в докладе, синтезировал многовековой художественный опыт различных литератур. Связь авангарда с поэтикой мифа, с библейской традицией была в центре доклада канд. филол. наук Н. Ф. Каменевой (ВГБИЛ) «Мифологический роман Б. Шульца». В ином аспекте — соотношение субъективного и документально-конкретного, творческое соединение разных идейно-эстетических направлений — анализировала тот же роман Шульца («Коричневые лавки») канд. филол. наук Е. С. Твердислова (ИНИОН).

Д-р филол. наук С. Ф. Мусиенко (Гродно) обратилась к попытке Э. Налковской создать авангардный роман в жанре семейной хроники («Нетерпеливые»), выделив экспериментальные черты этого произведения. Необходимую широту контекста придал конференции доклад канд. искусствоведения Н. В. Злыдневой, в котором рассматривалось восприятие русских художников-авангардистов в хорватско-сербской среде (журнал «Зенит»). В итоге «Зенит» подтверждал собственную национальную традицию, связанную с балканской картиной мира.

Канд. филол. наук Н. А. Богомолова на примере сборника Т. Мициньского «Во мраке звезд» показала сопряженность символизма, экспрессионизма и сюрреализма в творчестве одного автора. Соединение различных поэтик в авангардной литературе (на материале словацкой поэзии) было предметом анализа в сообщении канд. филол. наук Н. В. Шведовой. Соотношение эстетической теории С. И. Виткевича и его художественного творчества рассмотрела Н. И. Якубова (ГИТИС); эстетические идеи как бы проходили проверку в художественной практике писателя.

Обсуждение поставленных проблем в дискуссии выявило как несходство взглядов на те или иные стороны авангарда, так и точки соприкосновения, помогло прояснить некоторые спорные либо предварительно намеченные суждения. В целом конференция охватила довольно широкий

круг вопросов, связанных с литературным авангардом в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, определила

пути для разработки этой темы в дальнейшем.

Шведова Н. В.

## НОВЫЕ КНИГИ

В Институте славяноведения и балканистики АН СССР в 1991 г. опубликованы офсетным способом монографические исследования:

1) *Кишкин Л. С.* Словацко-русские литературные контакты в XIX в. (212 с., тираж 300 экз., цена — 2 руб.).

2) *Куренная Н. М.* Йожеф Дарваш: Судьба и творчество (112 с., тираж 300 экз., цена — 1 руб. 20 коп.).

3) *Злыднева Н. В.* Художественная

традиция в пространстве балканской культуры (177 с., тираж 300 экз., цена — 2 руб. 10 коп.).

4) *Косик В. И.* Русская политика в Болгарии 1879—1886 гг. (220 с., тираж 300 экз., цена — 2 руб.).

Их можно приобрести только в Институте (117334, Москва, Ленинский пр-т, 32-а, корпус В), адресовав заявки ученому секретарю. Книги высылаются наложенным платежом.

## КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Bibliografie spisů Bohuslava Balbína vytištěných do roku 1800. Praha, 1989.

Bibliographie d'études balkaniques, v. 23. 1988. Sofia, 1990, 482 s.

*Běličová H., Sedláček J.* Slovanske souveti. Praha, 1990, 227 s.

*Borucki B.* Valmy, 1792. Warszawa, 1990, 184 s., m., 8 ark. il.

*Cerný F.* Kalendárium dějin českého divadla. Praha, 1989, 144 s.

*Cieślakowa A.* Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe: Proces onimizacji. Wrocław, etc., 1990, 237 s.

Collegio Carolino ad Honorem: Sb. projevů a příspěvků ze setkání zástupců mnichovského střediska bohemistického bádání Collegia Carolina s českou historickou obcí v Praze v květnu roku 1990. Praha, 1990, 94 s.

Cracovia artificum: Suppl. Krakowskie środowisko artystyczne czasów Wita Stwosza. Wrocław etc., 1990, 194 s.

*Dejna K.* Słownik gwary czeskiej mieszkanców Kucowa. Wrocław, etc, 1990, 315 s.

Documente privind istoria României V. 11. București, 1990, 301 p.

Etudes historiques. T. 14. A l'occasion du XVIIème Congrès international des sciences historiques. Madrid, 1990, 295 p.

*Fält E.* Compounds in contact: A study in compound words with special reference to the Old Slavonic translation of Flavius Josephus «Peri tou Ioundaikou polemou». Uppsala, 1990, 168 p.

*Fever-Tóth R.* Art and humanism in Hungary in the age of Matthias Corvinus. Budapest, 1990, 179p., 41. ill.

Folclor vechi românesc București, 1990, XXVII, 259 p.

*Francisci-Rimavský J.* Listy Jána Francisciho. Martin, 1990, 273 s.

*Gilberg T.* Nationalism and communism in Romania: The rise and fall of Ceausescu's personal dictatorship. Boulder etc. 1990, 289 p.

Historiografie v Československu, 1985—1989 = Historiography in Czechoslovakia, 1985—1989: Výběrová bibliogr. Praha. XXVII, 377 p.

*Holý J.* Práce a básnivost: Estetický projekt světa Vladislava Vančury. Praha, 1990, 193 s.

*Horálek K.* Studie o populární literatuře českého obrození. Praha, 1990, 261 s.

Hospodářské dějiny = Economic history. Praha, 1990, 336 s.

*Jurga T.* Obrona Polski 1939. Warszawa, 1990, 862 s.

*Kaplan K.* Pravda o Československu, 1945—1948. Praha, 1990, 247 s.

*Klimecki M., Klimczak W.* Legiony polskie. Warszawa, 1990, 256 s., il. + Streszczenia (8 s.).

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski = Codex diplomaticus Maioris Poloniae. T. 9. Zawiera dokumenty № 1075—1380 z lat 1426—1434. Warszawa, Poznań, 1990, 435 s.

Kultura Wschodu i Zachodu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej. Międzynar. konf. literaturoznawstwa rusycystów. Opole, 16—17 list. 1987 r., Opole, 1990, 206 s.

*Lacina V.* Hospodářství českých zemí, 1880—1914. Praha, 1990, 187 s.

*Leśniewski S.* Marengo, 1800. Warszawa, 1990, 214 s., 14 ark. il.

Mihai Viteazul in constiința europeană. București, 1990, 486 p.

*Mihalovici M.* Amintiri despre Enescu Brâncuși și alți prieteni. București, 1990, XXXII, 213 p.

- Mindak J.* Językowa kategoria żywotności w polszczyźnie i słowiańszczyźnie na tle innych języków świata: Próba ujęcia typologicznego. Wrocław etc. 1990. 172 s.
- Opat J.* Filozof a politik T. G. Masaryk, 1882—1893. Praha, 1990, 469 s., 12 odd 1. il.
- Orsi J.* Karcag társadalomszervezete a 18—20. században. Budapest, 1990, 224 old.
- Pánek J.* Jan Amos Komenský — Comenius: La voie d'un penseur tchèque vers la réforme universelle d'affaires humaines. Praha, 1990, 205 p. ill.
- Patočka J.* Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha, 1990, 162 s.
- Polska bibliografia literacka... za rok 1983. Cz. 1. Warszawa, Łódź, 1990, 635 s.
- Położenie ludności polskiej w tzw. Kraju Warty w okresie hitlerowskiej okupacji. Poznań, 1990, XVI, 399 s, il.
- Pók A.* A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása: A «Huszadik század» társadalomszemelete (1900—1907). Budapest, 1990, 194 old.
- Politický systém a státní politika v prvních letech existence Československé Republiky (1918—1923). Praha, 1990, 346 s.
- Potkowski E.* Warna, 1444. Warszawa, 1990, 223 s., m, 12 ark, il.
- Sierpowski S.* Pilsudski w Genewie: Dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927. Poznań, 1990, 204 s., 10 ark. il.
- Sktadkowski S. F.* Moja służba w brygadzie: Pamiętnik polowy. Warszawa, 1990, 432 s.,
- Slovenské vystahovalectvo: Dokumenty. Martin, 1990, 287 s.
- Sokolovsky J.* Peasants and power: State autonomy a. the collectivization of agriculture in Eastern Europe. Boulder etc., 1990, IX, 181 p.
- Solta J.* Wirtschaft, Kultur und Nationalität: Ein Studienband zur sorbischen Geschichte. Budyšin, 1990, 191 S.
- Sorbischer Sprachatlas. Synchronische Phonologie. Bautzen, 1990, 268 S.
- Sowa F.* System fonologiczny polskich gwar spiskich. Wrocław etc. 1990, 114 s.
- Stadmüller-Wyborska E.* Prasa polskich ugrupowań politycznych II Rzeczypospolitej wobec koncepcji rozbrojenia moralnego. Warszawa, Wrocław, 1990, 203 s.
- Stajf J.* Revoluční léta 1848—1849 a české země. Praha, 1990, 194 s.
- Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. Wrocław, 1990, 361 s.
- Společnost, kultura, osobowość. Warszawa, 1990, 445 s., 2 ark. il.
- Tarur M.* Solidarność als Modernisierungsbewegung. Sozialstruktur und Konflikt in Polen. Frankfurt, 1989, 240 S.
- Todorovich B. J.* Last words: A memoir of World war II a. the Yugoslavtragedy. New York, 1989. XIV, 349 p.
- Tříška J.* Předhusitské bajky. Praha, 1990, 231 s.
- Tyszkewicz L. A.* Slowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku. Wrocław, 1990, 248 s.
- Urządnicy dawnej Rzeczypospolitej XII—XVIII wieku: Spisy. Wrocław etc., 1990, 377 s.
- Vajanský S. H.* Spisy. 6. Literatúra a život (Kritiky a články II) Bratislava, 1990, 348 s.
- Venclová N.* Prehistoric glass in Bohemia. Praha, 1990, 415 p.
- Zágonyi E.* Kosztolányi és az orosz irodalom. Budapest. 1990, 220 old.
- Zełeński T.* O literaturze niemoralnej: Szkice lit. Warszawa, 1990, 287 s.



# CONTENTS

## DISCUSSIONS

<i>Ivanov S. A.</i> From which point shall we begin the ethnic history of the Slavs? (On the occasion of the new work by Polish scientists) . . . . .	3
---	---

## ARTICLES

<i>Torbis A.</i> (Poland). The peasant problem in the ideology of Russian, Ukrainian and Polish liberation movement in the 40-ies of the XIX c. <i>Mihutina I. V.</i> Political social and economical aspects of the agrarian reforms between the two wars in the Central and South-East European Countries. <i>Blumenkrants M. A.</i> The legend in the historical-philosophical view. <i>Vasilenko V. N.</i> Forgotten and unknown pages in the heritage by J. I. Krashevski. <i>Kiklevich A. K.</i> Slavic negative pronouns as a grammatical class. <i>Houtzagers H. P.</i> (the Netherlands). Imperfect tense in the chakavian dialects of the Pag island . . . . .	14
--	----

## FROM THE HISTORY OF SLAVIC STUDIES

<i>Aksenova E. P.</i> From the history of the Soviet Slavic studies in the 1930-ies.	83
--	----

## REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

<i>Varabanov N. D.</i> Поливянни Д. И. Средновековният български град през XIII—XIV вв. Очерци. <i>Mihailov N. A.</i> Маројевић Р. Лингвистика и поезика превођења: међусловенски превод . . . . .	94
--	----

## SCIENTIFIC LIFE

<i>Melnikov G. P.</i> The conference «Slavic people and their neighbours devoted to the 70-th anniversary of V. D. Korolyuk». <i>Granchak I. M.</i> , <i>Zimomrya N. I.</i> In the context of Slavic mutual relations. <i>Boldt F.</i> (Germany). The «Euregio» movement in new united Europe guided by the principals of cooperation. <i>Shvedova N. V.</i> The Vanguard in the literatures of the Central and South-East European countries in the first half of the XX c. . . . .	100
New books . . . . .	110

Технический редактор *Е. В. Синицына*

Сдано в набор 11.06.91	Подписано к печати 12.08.91	Формат бумаги 70×108 <sup>1/8</sup>	
Высокая печать	Усл. печ. л. 9,8	Усл. кр.-отт. 10,5 тыс.	Уч.-изд. л. 11,8
	Тираж 1030 экз.	Зак. 1584	Бум. л. 3,5
		Цена 1 р. 50 к.	

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а

Телефоны 938-01-20, 938-08-09

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

## *Уважаемый читатель!*

Как двигаться вперед по пути радикальных реформ, не порывая в то же время с культурными и этническими традициями? В теоретическом аспекте эта проблема привлекает к себе сегодня внимание многих ученых. В своем практическом плане она же встала перед журналом «Советская этнография». Одно из старейших в нашей стране научных периодических изданий гуманитарного профиля (в этом году исполнилось 65 лет со дня его основания), журнал нуждается в реформе. Время перемен пришло.

И мы уверены, что взяв в руки первый номер «Советской этнографии» за 1992 год, каждый из вас сможет увидеть наш журнал в его новом облике.

Подписчики «Советской этнографии» будут в курсе борьбы мнений, связанной с преодолением этнических конфликтов в нашей стране, обеспечением прав народов, гармонизацией межэтнических отношений. Чтобы избежать односторонности взгляда на эту важную сферу нашего общественного бытия, мы намерены регулярно публиковать материалы, отражающие точку зрения различных политических сил, в первую очередь представителей народных движений в республиках.

Будет продолжена традиция проведения широких дискуссий по наиболее кардинальным вопросам этнографической науки, включая теорию этнических общностей, новые подходы к изучению феномена культуры и т. д.

Мы будем стремиться хотя бы частично восполнить лакуны в наших знаниях об истории формирования этнографической науки, систематически публикуя преданные забвению или вообще не увидевшие света страницы творческого наследия крупнейших этнографов прошлого. Многие из них были, кстати сказать, разносторонне одаренными личностями, в чем вы сможете убедиться, прочтя их произведения на «Страничке поэзии».

Надеемся, что немало нового и поучительного читатель сможет почерпнуть из постоянной рубрики «Происхождение вещей», которая позволит иными глазами взглянуть на многие обыденные элементы нашей бытовой культуры. Серия статей под общим названием «Времена года» познакомит вас с традиционными календарными обычаями и обрядами различных народов мира.

Резко расширяется раздел журнала, посвященный критике и библиографии. «Советская этнография» будет регулярно печатать обзоры о современном состоянии советской и мировой этнографической науки, рецензии на важнейшие книги, изданные в СССР и за рубежом. Мы надеемся, что журнал станет для читателя источником знания о новейших теоретических концепциях и конкретных региональных исследованиях ведущих зарубежных этнологов и антропологов. Для этой цели мы планируем также периодически помещать в «Советской этнографии» статьи наших коллег из стран Европы, Америки и Азии.

Редакция журнала постоянно получает большое количество писем от своих читателей. Теперь наиболее интересные из них будут публиковаться в постоянной рубрике «Нам пишут», и это, как мы надеемся, укрепит наши контакты. Журнал издается для читателя, и его суждения и поддержка несомненно помогут в утверждении нового лица «Советской этнографии».

*Редакционная коллегия*

*Глубокоуважаемые читатели!*

**Начата подписка на журнал  
«СОВЕТСКОЕ СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ»  
на 1992 год**

До конца этого года и в будущем году журнал планирует продолжить публикацию материалов «круглых столов» (в частности, дискуссию, посвященную так называемым «народным демократиям»); возобновить рубрику «Найдено в архивах», где поместить неизвестное письмо Богдана Хмельницкого и документы спецслужб по «делу славистов»; напечатать статьи «Славянский вопрос и русская душа в мировоззрении Николая Бердяева», «Исторические и современные аспекты германо-славянских взаимосвязей», «Польская ссылка в Сибирь», «Ф. Раскольников глазами болгарской полиции», «Режим БЗНС — форма социал-максимализма?» и др.

По разделу культурологии предполагается опубликовать исследования по проблемам общих закономерностей и национальной специфики исторического романа, интервью с Нобелевским лауреатом Чеславом Милошем о течениях в польской поэзии, материал об истоках славянского христианства и др.